

Антон Чехов

# Рассказы. 1887



Полное собрание сочинений и писем

АНТОН ЧЕХОВ

**Рассказы. 1887**

«Public Domain»

1887

## **Чехов А. П.**

Рассказы. 1887 / А. П. Чехов — «Public Domain»,  
1887 — (Полное собрание сочинений и писем)

В сборник вошли произведения, написанные А.П.Чеховым в 1887 году.

## Содержание

Новогодняя пытка	5
Шампанское	9
Мороз	13
Нищий	17
Враги	20
Добрый немец	28
Темнота	30
Полинька	33
Пьяные	37
Неосторожность	41
Верочка	44
Накануне поста	52
Беззащитное существо	55
Недоброе дело	58
Дома	61
Выигрышный билет	66
Рано!	69
Встреча	72
Тиф	80
Житейские невзгоды	84
На страстной неделе	87
Весной	90
Тайна	91
Письмо	94
Конец ознакомительного фрагмента.	96

# АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

## Рассказы

### 1887

#### Новогодняя пытка (Очерк новейшей инквизиции)

Вы облачаетесь во фрачную пару, нацепляете на шею Станислава<sup>1</sup>, если таковой у вас имеется, прыскаете платок духами, закручиваете штопором усы – и всё это с такими злобными, порывистыми движениями, как будто одеваете не себя самого, а своего злейшего врага.

– А, чёрррт подери! – бормочете вы сквозь зубы. – Нет покоя ни в будни, ни в праздники! На старости лет мычешься, как собака! Почтальоны живут покойнее!

Возле вас стоит ваша, с позволения сказать, подруга жизни, Верочка, и егозит:

– Ишь что выдумал: визитов не делать! Я согласна, визиты – глупость, предрассудок, их не следует делать, но если ты осмелишься остаться дома, то, клянусь, я уйду, уйду... навеки уйду! Я умру! Один у нас дядя, и ты... ты не можешь, тебе лень поздравить его с Новым годом? Кузина Леночка так нас любит, и ты, бесстыдник, не хочешь оказать ей честь? Федор Николаич дал тебе денег взаймы, брат Петя так любит всю нашу семью, Иван Андреич нашел тебе место, а ты!.. ты не чувствуешь! Боже, какая я несчастная. Нет, нет, ты решительно глуп! Тебе нужно жену не такую кроткую, как я, а ведьму, чтоб она тебя грызла каждую минуту! Да-а! Бес-совест-ный человек! Ненавижу! Презираю! Сию же минуту уезжай! Вот тебе списочек... У всех побывай, кто здесь записан! Если пропустишь хоть одного, то не смей ворочаться домой!

Верочка не дерется и не выцарапывает глаз. Но вы не чувствуете такого великодушия и продолжаете ворчать... Когда туалет кончен и шуба уже надета, вас провожают до самого выхода и говорят вам вслед:

– Тирран! Мучитель! Изверг!

Вы выходите из своей квартиры (Зубовский бульвар<sup>2</sup>, дом Фуфочкина), садитесь на извозчика и говорите голосом Солонина, умирающего в «Далиле»<sup>3</sup>:

– В Лефортово, к Красным казармам!<sup>4</sup>

У московских извозчиков есть теперь полости, но вы не цените такого великодушия и чувствуете, что вам холодно... Логика супруги, вчерашняя толчея в маскараде Большого театра, похмелье, страстное желание завалиться спать, послепраздничная изжога – всё это мешается в сплошной сумбур и производит в вас муть... Мутит ужасно, а тут еще извозчик плетется еле-еле, точно помирать едет...

В Лефортове живет дядюшка вашей жены, Семен Степаныч. Это – прекраснейший человек. Он без памяти любит вас и вашу Верочку, после своей смерти оставит вам наследство, но... чёрт с ним, с его любовью и с наследством! На ваше несчастье, вы входите к нему в то самое время, когда он погружен в тайны политики.

<sup>1</sup> ...нацепляете на шею Станислава... – Орден Станислава, младший из российских орденов, был трех степеней. На шее носили орден Станислава второй степени.

<sup>2</sup> Зубовский бульвар – юго-западная часть Садового кольца в Москве; за ним в 80-х годах XIX века начинались окраины.

<sup>3</sup> ...голосом Солонина, умирающего в «Далиле»... – П. Ф. Солонин (1857–1894), актер театра Корша в 1884–1891 гг.; исполнял роль Андрея Росвейна.

<sup>4</sup> В Лефортово, к Красным казармам! – В тогдашней Москве восточная окраина, за р. Яузой и Дворцовым мостом.

– А слышал ты, душа моя, что Баттенберг задумал? – встречает он вас. – Каков мужчина, а? Но какова Германия!!<sup>5</sup>

Семен Степаныч помешан на Баттенберге. Он, как и всякий российский обыватель, имеет свой собственный взгляд на болгарский вопрос, и если б в его власти, то он решил бы этот вопрос как нельзя лучше...

– Не-ет, брат, тут не Муткурка<sup>6</sup> и не Стамбулка<sup>7</sup> виноваты! – говорит он, лукаво подмигивая глазом. – Тут Англия, брат!<sup>8</sup> Будь я, анафема, трижды проклят, если не Англия!

Вы послушали его четверть часа и хотите раскланяться, но он хватает вас за рукав и просит дослушать. Он кричит, горячится, брызжет вам в лицо, тычет пальцами в ваш нос, цитирует целиком газетные передовицы, вскакивает, садится... Вы слушаете, чувствуете, как тянутся длинные минуты, и, из боязни уснуть, таращите глаза... От обалдения у вас начинают чесаться мозги... Баттенберг, Муткуров, Стамбулов, Англия, Египет<sup>9</sup> мелкими чёртиками прыгают у вас перед глазами...

Проходит полчаса... час... Уф!

– Наконец-то! – вздыхаете вы, садясь через полтора часа на извозчика. – Уходил, мерзавец! Извозчик, езжай в Хамовники! Ах, проклятый, душу вытянул политикой!

В Хамовниках вас ожидает свидание с полковником Федором Николаичем, у которого в прошлом году вы взяли займы шестьсот рублей...

– Спасибо, спасибо, милый мой, – отвечает он на ваше поздравление, ласково заглядывая вам в глаза. – И вам того же желаю... Очень рад, очень рад... Давно ждал вас... Там ведь у нас, кажется, с прошлого года какие-то счета есть... Не помню, сколько там... Впрочем, это пустяки, я ведь это только так... между прочим... Не желаете ли с дорожки?

Когда вы, заикаясь и потупив взоры, заявляете, что у вас, ей-богу, нет теперь свободных денег, и слезно просите обождать еще месяц, полковник всплескивает руками и делает плачущее лицо.

– Голубчик, ведь вы на полгода брали! – шепчет он. – И разве я стал бы вас беспокоить, если бы не крайняя нужда? Ах, милый, вы просто топите меня, честное слово... После Крещения мне по векселю платить, а вы... ах, боже мой милостивый! Извините, но даже бессовестно...

Долго полковник читает вам нотацию. Красный, вспотевший, вы выходите от него, садитесь в сани и говорите извозчику:

– К Нижегородскому вокзалу, сскотина!

Кузину Леночку вы застаете в самых растрепанных чувствах. Она лежит у себя в голубой гостиной на кушетке, нюхает какую-то дрянь и жалуется на мигрень.

– Ах, это вы, Мишель? – стонет она, наполовину открывая глаза и протягивая вам руку. – Это вы? Сядьте возле меня...

---

<sup>5</sup> ...что Баттенберг задумал? ~ Но какова Германия!! – А. Баттенберг (1857–1893), в 1879–1886 гг. князь болгарский. Кандидатура его была выдвинута Александром II с согласия представителей других европейских государств, участников Берлинского конгресса 1878 г. Впоследствии выяснилось, что он сторонник австро-германского влияния на Болгарию. По требованию группы болгарских офицеров 9(21) августа Баттенберг отрекся от престола и был выслан из страны. В конце 1886 – начале 1887 г. газеты сообщали о его намерении 11–12 января вернуться из Германии в Болгарию, что явилось бы вызовом России со стороны Германии (см., например, «Русский курьер», 1886, № 352, 22 декабря).

<sup>6</sup> Муткурка – С. Муткуров (1852–1891), болгарский генерал, один из трех регентов (наряду со С. Стамболовым и П. Каравеловым) после отречения Баттенберга.

<sup>7</sup> Стамбулка – С. Стамболов (1854–1895) содействовал избранию на княжеский престол в 1887 г. немецкого принца Фердинанда Кобургского.

<sup>8</sup> Тут Англия, брат! – Болгарская депутация посетила некоторые страны Европы и была обласкана в Англии. Регенты намеревались при содействии Англии отмежеваться от России (см.: «Новое время», 1886, № 3887 и 3889, 23 и 25 декабря).

<sup>9</sup> ...Египет... – Англия хотела сделать оккупацию Египта постоянной («Русский Курьер», 1886, № 354, 24 декабря); Франция требовала, чтобы Англия очистила Египет и нейтрализовала Суэцкий канал.

Минут пять лежит она с закрытыми глазами, потом поднимает веки, долго глядит вам в лицо и спрашивает тоном умирающей:

– Мишель, вы... счастливы?

Засим мешочки под ее глазами напухают, на ресницах показываются слезы... Она поднимается, прикладывает руку к волнующейся груди и говорит:

– Мишель, неужели... неужели всё уже кончено? Неужели прошлое погибло безвозвратно! О нет!

Вы что-то бормочете, беспомощно поглядываете по сторонам, как бы ища спасения, но пухлые женские руки, как две змеи, обволакивают уже вашу шею, лацкан вашего фрака уже покрыт слоем пудры. Бедная, всё прощающая, всё выносящая фрачная пара!

– Мишель, неужели тот сладкий миг уж не повторится более? – стонет кузина, орошая вашу грудь слезами. – Кузен, где же ваши клятвы, где обет в вечной любви?

Бррр!.. Еще минута, и вы с отчаяния броситесь в горящий камин, головой прямо в уголья, но вот на ваше счастье слышатся шаги и в гостиную входит визитер с шапокляком<sup>10</sup> и остроносыми сапогами... Как сумасшедший срываетесь вы с места, целуете кузине руку и, благословляя избавителя, мчитесь на улицу.

– Извозчик, к Крестовской заставе!

Брат вашей жены, Петя, отрицает визиты, а потому в праздники его можно застать дома.

– Ура-а! – кричит он, увидев вас. – Кого ви-ижу! Как кстати ты пришел!

Он трижды целует вас, угощает коньяком, знакомит с двумя какими-то девицами, которые сидят у него за перегородкой и хихикают, скачет, прыгает, потом, сделав серьезное лицо, отводит вас в угол и шепчет:

– Скверная штука, братец ты мой... Перед праздниками, понимаешь ты, издержался и теперь сижу без копейки... Положение отвратительное... Только на тебя и надежда... Если не дашь до пятницы 25 рублей, то без ножа зарежешь...

– Ей-богу, Петя, у меня у самого карманы пусты! – божитесь вы...

– Оставь, пожалуйста! Это уж свинство!

– Но уверяю тебя...

– Оставь, оставь... Я отлично тебя понимаю! Скажи, что не хочешь дать, вот я всё...

Петя обижается, начинает упрекать вас в неблагодарности, грозит донести о чем-то Верочке... Вы даете пять целковых, но этого мало... Даете еще пять, и вас отпускают с условием, что завтра вы пришлете еще 15.

– Извозчик, к Калужским воротам!

У Калужских живет ваш кум, мануфактур-советник Дятлов. Этот хватает вас в объятия и тащит вас прямо к закусочному столу.

– Ни-ни-ни! – орет он, наливая вам большую рюмку рябиновой. – Не смей отказаться! По гроб жизни обидишь! Не выпьешь – не выпущу! Сережка, запи-ка на ключ дверь!

Делать нечего, вы скрепя сердце выпиваете. Кум приходит в восторг.

– Ну, спасибо! – говорит он. – За то, что ты такой хороший человек, давай еще выпьем... Ни-ни-ни... ни! Обидишь! И не выпущу!

Надо пить и вторую.

– Спасибо другу! – восхищается кум. – За это самое, что ты меня не забыл, еще надо выпить!

И так далее... Выпитое у кума действует на вас так живительно, что на следующем визите (Сокольницкая роща<sup>11</sup>, дом Курдюковой) вы хозяйку принимаете за горничную, а горничной долго и горячо пожимаете руку...

---

<sup>10</sup> складная шляпа (*франц.* chapeau-claque).

<sup>11</sup> ...в Хамовники! ~ К Нижегородскому вокзалу ~ к Крестовской заставе! ~ к Калужским воротам! ~ Сокольницкая

Разбитый, помятый, без задних ног возвращаетесь вы к вечеру домой. Вас встречает ваша, извините за выражение, подруга жизни...

– Ну, у всех были? – спрашивает она. – Что же ты не отвечаешь? А? Как? Что-о-о? Молчать! Сколько потратил на извозчика?

– Пя... пять рублей восемь гривен...

– Что-о-о? Да ты с ума сошел! Миллионер ты, что ли, что тратишь столько на извозчика? Боже, он сделает нас нищими!

Засим следует нотация за то, что от вас вином пахнет, что вы не умеете толком рассказать, какое на Леночке платье, что вы – мучитель, изверг и убийца... Под конец, когда вы думаете, что вам можно уже завалиться и отдохнуть, ваша супруга вдруг начинает обнюхивать вас, делает испуганные глаза и вскрикивает.

– Послушайте, – говорит она, – вы меня не обманете! Куда вы заезжали, кроме визитов?

– Ни... никуда...

– Лжете, лжете! Когда вы уезжали, от вас пахло фиолет-де-пармом<sup>12</sup>, теперь же от вас разит опопанаксом<sup>13</sup>! Несчастный, я всё понимаю! Извольте мне говорить! Встаньте! Не смейте спать, когда с вами говорят! Кто она? У кого вы были?

Вы тарашите глаза, крикаете и в обалдении встряхиваете головой...

– Вы молчите?! Не отвечаете? – продолжает супруга. – Нет? Уми...умираю! До...доктора! За-му-учил! Уми-ра-аю!

Теперь, милый мужчина, одевайтесь и скачите за доктором. С Новым годом!

---

*роща*... – противоположные концы города. Хамовники – юго-западная окраина тогдашней Москвы, у Zubовского бульвара. Нижегородский вокзал – на юго-востоке. Крестовская застава – северный въезд в Москву. Калужские ворота – въезд в Москву с юго-запада. Сокольницкая роща – сосновый бор на северо-востоке Москвы.

<sup>12</sup> *фиолет-де-парм* – «Пармская фиалка», духи.

<sup>13</sup> *опопанакс* – духи французской фирмы, модные в 1880-е годы.

## Шампанское (Рассказ проходимца)

В тот год, с которого начинается мой рассказ, я служил начальником полустанка на одной из наших юго-западных железных дорог. Весело мне жилось на полустанке или скучно, вы можете видеть из того, что на 20 верст вокруг не было ни одного человеческого жилья, ни одной женщины, ни одного порядочного кабака, а я в те поры был молод, крепок, горяч, взбалмошен и глуп. Единственным развлечением могли быть только окна пассажирских поездов да поганая водка, в которую жида подмешивали дурман. Бывало, мелькнет в окне вагона женская головка, а ты стоишь, как статуя, не дышишь и глядишь до тех пор, пока поезд не обратится в едва видимую точку; или же выпьешь, сколько влезет, противной водки, очертенеешь и не чувствуешь, как бегут длинные часы и дни. На меня, уроженца севера, степь действовала, как вид заброшенного татарского кладбища. Летом она со своим торжественным покоем – этот монотонный треск кузнечиков, прозрачный лунный свет, от которого никуда не спрячешься, – наводила на меня унылую грусть, а зимою безукоризненная белизна степи, ее холодная даль, длинные ночи и волчий вой давили меня тяжелым кошмаром.

На полустанке жило несколько человек: я с женой, глухой и золотушный телеграфист да три сторожа. Мой помощник, молодой чахоточный человек, ездил лечиться в город, где жил по целым месяцам, предоставляя мне свои обязанности вместе с правом пользоваться его жалованьем. Детей у меня не было, гостей, бывало, ко мне никаким калачом не заманишь, а сам я мог ездить в гости только к сослуживцам по линии, да и то не чаще одного раза в месяц. Вообще, прескучнейшая жизнь.

Помню, встречал я с женою Новый год. Мы сидели за столом, лениво жевали и слушали, как в соседней комнате монотонно постукивал на своем аппарате глухой телеграфист. Я уже выпил рюмок пять водки с дурманом и, подперев свою тяжелую голову кулаком, думал о своей непобедимой, невылазной скуке, а жена сидела рядом и не отрывала от моего лица глаз. Глядела она на меня так, как может глядеть только женщина, у которой на этом свете нет ничего, кроме красивого мужа. Любила она меня безумно, рабски и не только мою красоту или душу, но мои грехи, мою злобу и скуку и даже мою жестокость, когда я в пьяном исступлении, не зная, на ком излить свою злобу, терзал ее попреками.

Несмотря на скуку, которая ела меня, мы готовились встретить Новый год с необычайной торжественностью и ждали полночи с некоторым нетерпением. Дело в том, что у нас были припасены две бутылки шампанского, самого настоящего, с ярлыком вдовы Клико<sup>14</sup>; это сокровище я выиграл на пари еще осенью у начальника дистанции, гуляя у него на крестинах. Бывает, что во время урока математики, когда даже воздух стынет от скуки, в класс со двора влетает бабочка; мальчуганы встряхивают головами и начинают с любопытством следить за полетом, точно видят перед собой не бабочку, а что-то новое, странное; так точно и обыкновенное шампанское, попав случайно в наш скучный полустанок, забавляло нас. Мы молчали и поглядывали то на часы, то на бутылки.

Когда стрелка показывала без пяти двенадцать, я стал медленно раскупоривать бутылку. Не знаю, ослабел ли я от водки, или же бутылка была слишком влажна, но только помню, когда пробка с треском полетела к потолку, моя бутылка выскользнула у меня из рук и упала на пол. Пролилось вина не более стакана, так как я успел подхватить бутылку и заткнуть ей шипящее горло пальцем.

– Ну, с Новым годом, с новым счастьем! – сказал я, наливая два стакана. – Пей!

---

<sup>14</sup> ...с ярлыком вдовы Клико... – Клико – старинная марка французского шампанского.

Жена взяла свой стакан и уставилась на меня испуганными глазами. Лицо ее побледнело и выражало ужас.

– Ты уронил бутылку? – спросила она.

– Да, уронил. Ну, так что же из этого?

– Нехорошо, – сказала она, ставя свой стакан и еще больше бледнея. – Нехорошая примета. Это значит, что в этом году с нами случится что-нибудь недоброе.

– Какая ты баба! – вздохнул я. – Умная женщина, а бредишь, как старая нянька. Пей.

– Дай бог, чтоб я бредила, но... непременно случится что-нибудь! Вот увидишь!

Она даже не пригубила своего стакана, отошла в сторону и задумалась. Я сказал несколько старых фраз насчет предрассудков, выпил полбутылки, пошагал из угла в угол и вышел.

На дворе во всей своей холодной, нелюдимой красе стояла тихая морозная ночь. Луна и около нее два белых пушистых облачка неподвижно, как приклеенные, висели в вышине над самым полустанком и как будто чего-то ждали. От них шел легкий прозрачный свет и нежно, точно боясь оскорбить стыдливость, касался белой земли, освещая всё: сугробы, насыпь... Было тихо.

Я шел вдоль насыпи.

«Глупая женщина! – думал я, глядя на небо, усыпанное яркими звездами. – Если даже допустить, что приметы иногда говорят правду, то что же недоброе может случиться с нами? Те несчастья, которые уже испытаны и которые есть теперь налицо, так велики, что трудно придумать что-нибудь еще хуже. Какое еще зло можно причинить рыбе, которая уже поймана, изжарена и подана на стол под соусом?»

Тополь, высокий, покрытый инеем, показался в синеватой мгле, как великан, одетый в саван. Он поглядел на меня сурово и уныло, точно, подобно мне, понимал свое одиночество. Я долго глядел на него.

«Молодость моя погибла ни за грош, как ненужный окурок, – продолжал я думать. – Родители мои умерли, когда я был еще ребенком, из гимназии меня выгнали. Родился я в дворянской семье, но не получил ни воспитания, ни образования, и знаний у меня не больше, чем у любого смазчика. Нет у меня ни приюта, ни близких, ни друзей, ни любимого дела. Ни на что я не способен и в расцвете сил сгодился только на то, чтобы мною заткнули место начальника полустанка. Кроме неудач и бед, ничего другого не знал я в жизни. Что же еще недоброе может случиться?»

Вдали показались красные огни. Мне навстречу шел поезд. Уснувшая степь слушала его шум. Мои мысли были так горьки, что мне казалось, что я мыслил вслух, что стон телеграфа и шум поезда передают мои мысли.

«Что же еще недоброе может случиться? Потеря жены? – спрашивал я себя. – И это не страшно. От своей совести нельзя прятаться: не люблю я жены! Женился я на ней, когда еще был мальчишкой. Теперь я молод, крепок, а она осунулась, состарилась, поглупела, от головы до пят набита предрассудками. Что хорошего в ее приторной любви, впалой груди, в вялом взгляде? Я терплю ее, но не люблю. Что же может случиться? Молодость моя пропадает, как говорится, ни за понюшку табаку. Женщины мелькают передо мной только в окнах вагонов, как падающие звезды. Любви не было и нет. Гибнет мое мужество, моя смелость, сердечность... Всё гибнет, как сор, и мои богатства здесь, в степи, не стоят гроша медного».

Поезд с шумом пролетел мимо меня и равнодушно посветил мне своими красными окнами. Я видел, как он остановился у зеленых огней полустанка, постоял минуту и покатил далее. Пройдя версты две, я вернулся назад. Печальные мысли не оставляли меня. Как ни горько было мне, но, помнится, я как будто старался, чтобы мои мысли были печальнее и мрачнее. Знаете, у недалеких и самолюбивых людей бывают моменты, когда сознание, что они несчастны, доставляет им некоторое удовольствие, и они даже кокетничают перед самими

собой своими страданиями. Много в моих мыслях было правды, но много и нелепого, хвастливого, и что-то мальчишески вызывающее было в моем вопросе: «Что же может случиться недоброе?»

«Да, что же случится? – спрашивал я себя, возвращаясь. – Кажется, всё пережито. И болел я, и деньги терял, и выговоры каждый день от начальства получаю, и голодаю, и волк бешеный забегал во двор полустанка. Что еще? Меня оскорбляли, унижали... и я оскорблял на своем веку. Вот разве только преступником никогда не был, но на преступление я, кажется, неспособен, суда же не боюсь».

Два облачка уже отошли от луны и стояли поодаль с таким видом, как будто шептались о чем-то таком, чего не должна знать луна. Легкий ветерок пробежал по степи, неся глухой шум ушедшего поезда.

У порога дома встретила меня жена. Глаза ее весело смеялись, и всё лицо дышало удовольствием.

– А у нас новость! – зашептала она. – Ступай скорее в свою комнату и надень новый сюртук: у нас гостья!

– Какая гостья?

– Сейчас с поездом приехала тетя Наталья Петровна.

– Какая Наталья Петровна?

– Жена моего дяди Семена Федорыча. Ты ее не знаешь. Она очень добрая и хорошая...

Вероятно, я нахмурился, потому что жена сделала серьезное лицо и зашептала быстро:

– Конечно, странно, что она приехала, но ты, Николай, не сердись и взгляни снисходительно. Она ведь несчастная. Дядя Семен Федорыч в самом деле деспот и злой, с ним трудно ужиться. Она говорит, что только три дня у нас проживет, пока не получит письма от своего брата.

Жена долго еще шептала мне какую-то чепуху про деспота дядюшку, про слабость человеческую вообще и молодых жен в частности, про обязанность нашу давать приют всем, даже большим грешникам, и проч. Не понимая ровно ничего, я надел новый сюртук и пошел знакомиться с «тетей».

За столом сидела маленькая женщина с большими черными глазами. Мой стол, серые стены, топорный диван... кажется, всё до малейшей пылинки помолодело и повеселело в присутствии этого существа, нового, молодого, издававшего какой-то мудреный запах, красивого и порочного. А что гостья была порочна, я понял по улыбке, по запаху, по особой манере глядеть и играть ресницами, по тону, с каким она говорила с моей женой – порядочной женщиной... Не нужно ей было рассказывать мне, что она бежала от мужа, что муж ее стар и деспот, что она добра и весела. Я всё понял с первого взгляда, да едва ли в Европе есть еще мужчины, которые не умеют отличить с первого взгляда женщину известного темперамента.

– А я не знала, что у меня есть такой крупный племянничек! – сказала тетя, протягивая мне руку и улыбаясь.

– А я не знал, что у меня есть такая хорошенькая тетя! – сказал я.

Снова начался ужин. Пробка с треском вылетела из второй бутылки, и моя тетя залпом выпила полстакана, а когда моя жена вышла куда-то на минутку, тетя уже не церемонилась и выпила целый стакан. Опьянел я и от вина, и от присутствия женщины. Вы помните романс?

Очи черные, очи страстные,  
Очи жгучие и прекрасные,  
Как люблю я вас,  
Как боюсь я вас!<sup>15</sup>

<sup>15</sup> *Очи черные, очи страстные...* – популярный цыганский романс на стихи Е. П. Гребенки (муз. Г. Софусь).

Не помню, что было потом. Кому угодно знать, как начинается любовь, тот пусть читает романы и длинные повести, а я скажу только немного и словами всё того же глупого романа:

Знать, увидел вас  
Я не в добрый час...

Всё полетело к чёрту верхним концом вниз. Помнится мне страшный, бешеный вихрь, который закружил меня, как перышко. Кружил он долго и стер с лица земли и жену, и самую тетю, и мою силу. Из степного полустанка, как видите, он забросил меня на эту темную улицу. Теперь скажите: что еще недоброе может со мной случиться?

## Мороз

На Крещение в губернском городе N. было устроено с благотворительной целью «народное» гулянье. Выбрали широкую часть реки между рынком и архиерейским двором, огородили ее канатом, елками и флагами и соорудили всё, что нужно для катанья на коньках, на санях и с гор. Праздник предполагался в возможно широких размерах. Выпущенные афиши были громадны и обещали немало удовольствий: каток, оркестр военной музыки, беспроегрешную лотерею, электрическое солнце<sup>16</sup> и проч. Но всё это едва не рушилось благодаря сильному морозу. На Крещение с самого кануна стоял мороз градусов в 28 с ветром; и гулянье хотели отложить, но не сделали этого только потому, что публика, долго и нетерпеливо ожидавшая гулянья, не соглашалась ни на какие отсрочки.

– Помилуйте, на то теперь и зима, чтоб был мороз! – убеждали дамы губернатора, который стоял за то, чтобы гулянье было отложено. – Если кому будет холодно, тот может где-нибудь погреться!

От мороза побелели деревья, лошади, бороды; казалось даже, сам воздух трещал, не вынося холода, но, несмотря на это, тотчас же после водосвятия озябшая полиция была уже на катке, и ровно в час дня начал играть военный оркестр.

В самый разгар гулянья, часу в четвертом, в губернаторском павильоне, построенном на берегу реки, собралось греться местное отборное общество. Тут были старик губернатор с женой, архиерей, председатель суда, директор гимназии и многие другие. Дамы сидели в креслах, а мужчины толпились около широкой стеклянной двери и глядели на каток.

– Ай, батюшки, – изумлялся архиерей, – ногами-то, ногами какие ноты выводят! Ей-же-ей, иной певец голосом того не выведет, что эти головорезы ногами... Ай, убьется!

– Это Смирнов... Это Груздев, – говорил директор, называя по фамилии гимназистов, летавших мимо павильона.

– Ба, жив курилка! – засмеялся губернатор. – Господа, поглядите, наша городская голова идет... Сюда идет. Ну, беда: заговорит он нас теперь!

С другого берега, сторонясь от конькобежцев, шел к павильону маленький, худенький старик в лисьей шубе нараспашку и в большом картузе. Это был городской голова, купец Еремеев, миллионер, N – ский старожил. Растопырив руки и пожимаясь от холода, он подпрыгивал, стучал калошей о калошу и, видимо, спешил убраться от ветра. На полдороге он вдруг согнулся, подкрался сзади к какой-то даме и дернул ее за рукав. Когда та оглянулась, он отскочил и, вероятно, довольный тем, что сумел испугать, разразился громким старческим смехом.

– Живой старикашка! – сказал губернатор. – Удивительно, как это он еще на коньках не катается.

Подходя к павильону, голова засеменял мелкой рысцой, замахал руками и, разбежавшись, подполз по льду на своих громадных калошах к самой двери.

– Егор Иваныч, коньки вам надо купить! – встретил его губернатор.

– Я и сам-то думаю! – ответил он крикливым, немного гнусавый тенорком, снимая шапку. – Здравия желаю, ваше превосходительство! Ваше преосвященство, владыко святой! Всем прочим господам – многая лета! Вот так мороз! Ну, да и мороз же, бог с ним! Смерть!

Мигая красными, озябшими глазами, Егор Иваныч застучал по полу калошами и захлопал руками, как озябший извозчик.

– Такой проклятуший мороз, что хуже собаки всякой! – продолжал он говорить, улыбаясь во всё лицо. – Сущя казнь!

---

<sup>16</sup> ...электрическое солнце – дуговой аппарат, употреблявшийся при электрическом освещении. Вытесняя газовое, оно в то время было новинкой; вопрос о нем обсуждался в Петербургской думе накануне 1887 года.

– Это здорово, – сказал губернатор. – Мороз укрепляет человека, бодрит.

– Хоть и здорово, но лучше б его вовсе не было, – сказал голова, утирая красным платком свою клиновидную бородку. – Бог с ним! Я так понимаю, ваше превосходительство, господь в наказание нам его посылает, мороз-то. Летом грешим, а зимою казнимся... да!

Егор Иваныч быстро огляделся и всплеснул руками.

– А где же это самое... чем греться-то? – спросил он, испуганно глядя то на губернатора, то на архиерея. – Ваше превосходительство! Владыко святой! Чай, и мадамы озябли! Надо что-нибудь! Так невозможно!

Все замахали руками, стали говорить, что они приехали на каток не за тем, чтобы греться, но голова, никого не слушая, отворил дверь и закивал кому-то согнутым в крючок пальцем. К нему подбежали артельщик и пожарный.

– Вот что, бегите к Саватину, – забормотал он, – и скажите, чтоб как можно скорей прислал сюда того... Как его? Чего бы такое? Стало быть, скажи, чтоб десять стаканов прислал... десять стаканов глинтвейнцу... самого горячего, или пуншу, что ли...

В павильоне засмеялись.

– Нашел, чем угощать!

– Ничего, выпьем... – бормотал голова. – Стало быть, десять стаканов... Ну, еще бенедиктинцу, что ли... красенького вели согреть бутылки две... Ну, а мадамам чего? Ну, скажешь там, чтоб пряников, орешков... конфетов каких там, что ли... Ну, ступай! Живо!

Голова минуту помолчал, а потом опять стал бранить мороз, хлопая руками и стуча калошами.

– Нет, Егор Иваныч, – убеждал его губернатор, – не грешите, русский мороз имеет свои прелести. Я недавно читал, что многие хорошие качества русского народа обуславливаются громадным пространством земли и климатом, жестокой борьбой за существование... Это совершенно справедливо!

– Может, и справедливо, ваше превосходительство, но лучше б его вовсе не было. Оно, конечно, мороз и французов выгнал, и всякие кушанья заморозить можно, и деточки на коньках катаются... всё это верно! Сытому и одетому мороз – одно удовольствие, а для человека рабочего, нищего, странника, блаженного – он первейшее зло и напасть. Горе, горе, владыко святой! При таком морозе и бедность вдвое, и вор хитрее, и злодей лютее. Что и говорить! Мне теперь седьмой десяток пошел, у меня теперь вот шуба есть, а дома печка, всякие ромы и пунши. Теперь мне мороз нипочем, я без всякого внимания, знать его не хочу. Но прежде-то что было, мать пречистая! Вспомнить страшно! Память у меня с годами отшибло, и я всё позабыл; и врагов, и грехи свои, и напасти всякие – всё позабыл, но мороз – ух как помню! Остался я после маменьки вот этаким махоньким бесенком, бесприютным сиротой... Ни родных, ни ближних, одежка рваная, кушать хочется, ночевать негде, одним словом, не имамы zde пребывающего града, но грядущего взыскуем.<sup>17</sup> Довелось мне тогда за пятак в день водить по городу одну старушку слепую... Морозы были жестокие, злющие. Выйдешь, бывало, со старушкой и начинаешь мучиться. Создатель мой! Спервоначалу задаешь дрожак, как в лихорадке, жмешься и прыгаешь, потом начинают у тебя уши, пальцы и ноги болеть. Болят, словно кто их клещами жмет. Но это всё бы ничего, пустое дело, не суть важное. Беда, когда всё тело стынет. Часика три походишь по морозу, владыко святой, и потеряешь всякое подобие. Ноги сводит, грудь давит, живот втягивает, главное, в сердце такая боль, что хуже и быть не может. Болит сердце, нет мочи терпеть, а во всем теле тоска, словно ты ведешь за руку не старуху, а саму смерть. Весь онемеешь, одеревенеешь, как статуя, идешь, и кажется тебе, что не ты это идешь, а кто-то другой вместо тебя ногами двигает. Как застыла душа, то уж себя не пом-

<sup>17</sup> ...не имамы zde пребывающего града, но грядущего взыскуем. – В русском переводе: «... не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Библия. Новый завет. «Послание к евреям святого апостола Павла», гл. XII, ст. 14).

нишь: норовишь или старуху без водителя оставить, или горячий калач с лотка стащить, или подраться с кем. А придешь с мороза на ночлег в тепло, тоже мало радости! Почитай, до полночи не спишь и плачешь, а отчего плачешь, и сам не знаешь...

– Пока еще не стемнело, нужно по катку пройтись, – сказала губернаторша, которой скучно стало слушать. – Кто со мной?

Губернаторша вышла, и за нею повалила из павильона вся публика. Остались только губернатор, архиерей и голова.

– Царица небесная! А что было, когда меня в сидельцы в рыбную лавку отдали! – продолжал Егор Иваныч, поднимая вверх руки, причем лисья шуба его распахнулась. – Бывало, выходишь в лавку чуть свет... к девятому часу я уж совсем озябши, рожа посинела, пальцы растопырены, так что пуговицы не застегнешь и денег не сосчитаешь. Стоишь на холоде, костенеешь и думаешь: «Господи, ведь до самого вечера так стоять придется!» К обеду уж у меня живот втянуло и сердце болит... да-с! Когда потом сам хозяином был, не легче жилось. Морозы до чрезвычайности, а лавка, словно мышеловка, со всех сторон ее продувает; шубенка на мне, извините, паршивая, на рыбьем меху, сквозная... Застынешь весь, обалдеешь и сам станешь жесточее мороза: одного за ухо дернешь, так что чуть ухо не оторвешь, другого по затылкухватишь, на покупателя злодеем таким глядишь, зверем, и норовишь с него кожу содрать, а домой ввечеру придешь, надо бы спать ложиться, но ты не в духах и начинаешь свое семейство куском хлеба попрекать, шуметь и так разойдешься, что пяти городских мало. От морозу и зол становишься и водку пьешь не в меру.

Егор Иваныч всплеснул руками и продолжал:

– А что было, когда мы зимой в Москву рыбу возили! Мать пречистая!

И он, захлебываясь, стал описывать ужасы, которые переживал со своими приказчиками, когда возил в Москву рыбу...

– Н-да, – вздохнул губернатор, – удивительно вынослив человек! Вы, Егор Иваныч, рыбу в Москву возили, а я в свое время на войну ходил. Припоминается мне один необыкновенный случай...

И губернатор рассказал, как во время последней русско-турецкой войны, в одну морозную ночь отряд, в котором он находился, стоял неподвижно тринадцать часов в снегу под пронзительным ветром; из страха быть замеченным, отряд не разводил огня, молчал, не двигался; запрещено было курить...

Начались воспоминания. Губернатор и голова оживились, повеселели и, перебивая друг друга, стали припоминать пережитое. И архиерей рассказал, как он, служа в Сибири, ездил на собаках, как он однажды сонный, во время сильного мороза, вывалился из возка и едва не замерз; когда тунгузы вернулись и нашли его, то он был едва жив. Потом, словно стговорившись, старики вдруг умолкли, сели рядышком и задумались.

– Эх! – прошептал голова. – Кажется, пора бы забыть, но как взглянешь на водовозов, на школьников, на арестантиков в халатишках, всё припомнишь! Да взять хоть этих музыкантов, что играют сейчас. Небось уж и сердце болит у них, и животы втянуло, и трубы к губам примерзли... Играют и думают: «Мать пречистая, а ведь нам еще три часа тут на холоде сидеть!»

Старики задумались. Думали они о том, что в человеке выше происхождения, выше сана, богатства и знаний, что последнего нищего приближает к богу: о немощи человека, о его боли, о терпении...

Между тем воздух синел... Отворилась дверь, и в павильон вошли два лакея от Саватина, внося подносы и большой окутанный чайник. Когда стаканы наполнились и в воздухе сильно запахло корицей и гвоздикой, опять отворилась дверь и в павильон вошел молодой, безусый околоточный с багровым носом и весь покрытый инеем. Он подошел к губернатору и, делая под козырек, сказал:

– Ее превосходительство приказали доложить, что они уехали домой.

Глядя, как околоточный делал озябшими, растопыренными пальцами под козырек, глядя на его нос, мутные глаза и башлык, покрытый около рта белым инеем, все почему-то почувствовали, что у этого околоточного должно болеть сердце, что у него втянут живот и онемела душа...

– Послушайте, – сказал нерешительно губернатор, – выпейте глинтвейну!

– Ничего, ничего... выпей! – замахал голова. – Не стесняйся!

Околоточный взял в обе руки стакан, отошел в сторону и, стараясь не издавать звуков, стал чинно отхлебывать из стакана. Он пил и конфузился, а старики молча глядели на него, и всем казалось, что у молодого околоточного от сердца отходит боль, мякнет душа. Губернатор вздохнул.

– Пора по домам! – сказал он, поднимаясь. – Прощайте! Послушайте, – обратился он к околоточному, – скажите там музыкантам, чтобы они... перестали играть, и попросите от моего имени Павла Семеновича, чтобы он распорядился дать им... пива или водки.

Губернатор и архиерей простились с «городской головой» и вышли из павильона.

Егор Иваныч принялся за глинтвейн и, пока околоточный допивал свой стакан, успел рассказать ему очень много интересного. Молчать он не умел.

## Нищий

– Милостивый государь! Будьте добры, обратите внимание на несчастного, голодного человека. Три дня не ел... не имею пятака на ночлег... клянусь богом! Восемь лет служил сельским учителем и потерял место по интригам земства. Пал жертвою доноса. Вот уж год, как хожу без места.

Присяжный поверенный Скворцов поглядел на сизое, дырявое пальто просителя, на его мутные, пьяные глаза, красные пятна на щеках, и ему показалось, что он раньше уже видел где-то этого человека.

– Теперь мне предлагают место в Калужской губернии, – продолжал проситель, – но у меня нет средств, чтобы поехать туда. Помогите, сделайте милость! Стыдно просить, но... вынуждают обстоятельства.

Скворцов поглядел на калоши, из которых одна была глубокая, а другая мелкая, и вдруг вспомнил.

– Послушайте, третьего дня, кажется, я встретил вас на Садовой, – сказал он, – но тогда вы говорили мне, что вы не сельский учитель, а студент, которого исключили.<sup>18</sup> Помните?

– Не... нет, не может быть! – пробормотал проситель, смущаясь. – Я сельский учитель и, ежели желаете, могу документы показать.

– Будет вам лгать! Вы называли себя студентом и даже рассказали мне, за что вас исключили. Помните?

Скворцов покраснел и с выражением гадливости на лице отошел от оборвыша.

– Это подло, милостивый государь! – крикнул он сердито. – Это мошенничество! Я вас в полицию отправлю, чёрт бы вас взял! Вы бедны, голодны, но это не дает вам права так нагло, бессовестно лгать!

Оборвыш взялся за ручку двери и растерянно, как пойманный вор, оглядел переднюю.

– Я... я не лгу-с... – пробормотал он. – Я могу документы показать.

– Кто вам поверит? – продолжал возмущаться Скворцов. – Эксплуатировать симпатии общества к сельским учителям и студентам – ведь это так низко, подло, грязно! Возмутительно!

Скворцов разошелся и самым безжалостным образом распек просителя. Своею наглою ложью оборвыш возбудил в нем гадливость и отвращение, оскорбил то, что он, Скворцов, так любил и ценил в себе самом: доброту, чувствительное сердце, сострадание к несчастным людям; своею ложью, покушением на милосердие «субъект» точно осквернил ту милостыню, которую он от чистого сердца любил подавать беднякам. Оборвыш сначала оправдывался, божился, но потом умолк и, пристыженный, поник головой.

– Сударь! – сказал он, прикладывая руку к сердцу. – Действительно, я... солгал! Я не студент и не сельский учитель. Всё это одна выдумка! Я в русском хоре служил, и оттуда меня за пьянство выгнали. Но что же мне делать? Верьте богу, нельзя без лжи! Когда я говорю правду, мне никто не подает. С правдой умрешь с голоду и замерзнешь без ночлега! Вы верно рассуждаете, я понимаю, но... что же мне делать?

– Что делать? Вы спрашиваете, что вам делать? – крикнул Скворцов, подходя к нему близко. – Работайте, вот что делать! Работать нужно!

– Работать... Я и сам это понимаю, но где же работы взять?

---

<sup>18</sup>...студент, которого исключили. – После событий 1 марта 1881 г. в университетах был установлен полицейский режим. 16 мая 1885 г. были утверждены «Правила для студентов и сторонних слушателей императорских российских университетов». За малейшую провинность и неисполнение правил студентов арестовывали, исключали из университета.

– Вздор! Вы молоды, здоровы, сильны и всегда найдете работу, была бы лишь охота. Но ведь вы ленивы, избалованы, пьяны! От вас, как из кабака, разит водкой! Вы изолгались и истрепались до мозга костей и способны только на попрошайничество и ложь! Если вы и соблаговолите когда-нибудь снизойти до работы, то подавай вам канцелярию, русский хор, маркерство, где бы вы ничего не делали и получали бы деньги! А не угодно ли вам заняться физическим трудом? Небось не пойдете в дворники или фабричные! Вы ведь с претензиями!

– Как вы рассуждаете, ей-богу... – проговорил проситель и горько усмехнулся. – Где же мне взять физического труда? В приказчики мне уже поздно, потому что в торговле с мальчиков начинать надо, в дворники никто меня не возьмет, потому что на меня тыкать нельзя... а на фабрику не примут, надо ремесло знать, а я ничего не знаю.

– Вздор! Вы всегда найдете оправдание! А не угодно ли вам дрова колоть?

– Я не отказываюсь, но нынче и настоящие дровоколы сидят без хлеба.

– Ну, все тунеядцы так рассуждают. Предложи вам, так откажетесь. Не хотите ли у меня поколоть дрова?

– Извольте, поколю...

– Хорошо, посмотрим... Отлично... Увидим!

Скворцов заторопился и, не без злорадства, потирая руки, вызвал из кухни кухарку.

– Вот, Ольга, – обратился он к ней, – поведи этого господина в сарай, и пусть он дрова поколет.

Оборвыш пожал плечами, как бы недоумевая, и нерешительно пошел за кухаркой. По его походке видно было, что согласился он идти колоть дрова не потому, что был голоден и хотел заработать, а просто из самолюбия и стыда, как пойманный на слове. Заметно было также, что он сильно ослабел от водки, был нездоров и не чувствовал ни малейшего расположения к работе.

Скворцов поспешил в столовую. Там из окон, выходящих на двор, виден был дровяной сарай и всё, что происходило на дворе. Стоя у окна, Скворцов видел, как кухарка и оборвыш вышли черным ходом на двор и по грязному снегу направились к сараю. Ольга, сердито оглядывая своего спутника и тыча в стороны локтями, отперла сарай и со злобой хлопнула дверью.

«Вероятно, мы помешали бабе кофе пить, – подумал Скворцов. – Экое злое создание!»

Далее он видел, как лжеучитель и лжестудент уселся на колоду и, подперев кулаками свои красные щеки, о чем-то задумался. Баба швырнула к его ногам топор, со злобой плюнула и, судя по выражению губ, стала браниться. Оборвыш нерешительно потянул к себе одно полено, поставил его между ног и несмело тяпнул по нем топором. Полено закачалось и упало. Оборвыш потянул его к себе, подул на свои озябшие руки и опять тяпнул топором с такою осторожностью, как будто боялся хватить себя по калоше или обрубить пальцы. Полено опять упало.

Гнев Скворцова уже прошел, и ему стало немножко больно и стыдно за то, что он заставил человека избалованного, пьяного и, быть может, больного заниматься на холоде черной работой.

«Ну, ничего, пусть... – подумал он, идя из столовой в кабинет. – Это я для его же пользы».

Через час явилась Ольга и доложила, что дрова уже порублены.

– На, отдай ему полтинник, – сказал Скворцов. – Если он хочет, то пусть приходит колоть дрова каждое первое число... Работа всегда найдется.

Первого числа явился оборвыш и опять заработал полтинник, хотя едва стоял на ногах. С этого раза он стал часто показываться на дворе, в всякий раз для него находили работу: то он снег сгребал в кучи, то прибирал в сарае, то выбивал пыль из ковров и матрацев. Всякий раз он получал за свои труды копеек 20–40, и раз даже ему были высланы старые бьюки.

Перебираясь на другую квартиру, Скворцов нанял его помогать при укладке и перевозке мебели. В этот раз оборвыш был трезв, угрюм и молчалив; он едва прикасался к мебели, ходил понуря голову за возами и даже не старался казаться деятельным, а только пожимался от холода

и конфузился, когда извозчики смеялись над его праздностью, бессилием и рваным благородным пальто. После перевозки Скворцов велел позвать его к себе.

– Ну, я вижу, мои слова на вас подействовали, – сказал он, подавая ему рубль. – Вот вам за труды. Я вижу, вы трезвы и не прочь поработать. Как вас зовут?

– Лушков.

– Я, Лушков, могу теперь предложить вам другую работу, почище. Вы можете писать?

– Могу-с.

– Так вот с этим письмом вы завтра отправитесь к моему товарищу и получите от него переписку. Работайте, не пьянствуйте, не забывайте того, что я говорил вам. Прощайте!

Скворцов, довольный тем, что поставил человека на путь истины, ласково потрепал Лушкова по плечу и даже подал ему на прощанье руку. Лушков взял письмо, ушел и уж больше не приходил на двор за работой.

Прошло два года. Однажды, стоя у театральной кассы и расплачиваясь за билет, Скворцов увидел рядом с собой маленького человечка с барашковым воротником и в поношенной котиковой шапке. Человечек робко попросил у кассира билет на галерку и заплатил медными пятаками.

– Лушков, это вы? – спросил Скворцов, узнав в человечке своего давнишнего дровокола. – Ну как? Что подельваете? Хорошо живется?

– Ничего... Служу теперь у нотариуса, получаю 35 рублей-с.

– Ну, и слава богу. И отлично! Радуюсь за вас. Очень, очень рад, Лушков! Ведь вы некоторым образом мой крестник. Ведь это я вас на настоящую дорогу толкнул. Помните, как я вас распекал, а? Чуть вы у меня тогда сквозь землю не провалились. Ну, спасибо, голубчик, что моих слов не забывали.

– Спасибо и вам, – сказал Лушков. – Не приди я к вам тогда, пожалуй, до сих пор назывался бы учителем или студентом. Да, у вас спасся, выскочил из ямы.

– Очень, очень рад.

– Спасибо за ваши добрые слова и за дела. Вы отлично тогда говорили. Я благодарен и вам, и вашей кухарке, дай бог здоровья этой доброй, благородной женщине. Вы отлично говорили тогда, я вам обязан, конечно, по гроб жизни, но спасла-то меня, собственно, ваша кухарка Ольга.

– Каким это образом?

– А таким образом. Бывало, придешь к вам дрова колоть, она и начнет: «Ах ты, пьяница! Окаянный ты человек! И нет на тебя погибели!» А потом сядет против, пригорюнится, глядит мне в лицо и плачется: «Несчастный ты человек! Нет тебе радости на этом свете, да и на том свете, пьяница, в аду гореть будешь! Горемычный ты!» И всё в таком роде, знаете. Сколько она себе крови испортила и слез пролила ради меня, я вам и сказать не могу. Но главное – вместо меня дрова колола! Ведь я, сударь, у вас ни одного полена не расколол, а всё она! Почему она меня спасла, почему я изменился, глядя на нее, и пить перестал, не могу вам объяснить. Знаю только, что от ее слов и благородных поступков в душе моей произошла перемена, она меня исправила, и никогда я этого не забуду. Одначе пора, уже звонок подают.

Лушков поклонился и отправился на галерку.

## Враги

В десятом часу темного сентябрьского вечера у земского доктора Кирилова скончался от дифтерита его единственный сын, шестилетний Андрей. Когда докторша опустилась на колени перед кроваткой умершего ребенка и ею овладел первый приступ отчаяния, в передней резко прозвучал звонок.

По случаю дифтерита вся прислуга еще с утра была выслана из дому. Кирилов, как был, без сюртука, в расстегнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, обожженных карболкой, пошел сам отворять дверь. В передней было темно, и в человеке, который вошел, можно было различить только средний рост, белое кашне и большое, чрезвычайно бледное лицо, такое бледное, что, казалось, от появления этого лица в передней стало светлее...

– Доктор у себя? – быстро спросил вошедший.

– Я дома, – ответил Кирилов. – Что вам угодно?

– А, это вы? Очень рад! – обрадовался вошедший и стал искать в потемках руку доктора, нашел ее и крепко стиснул в своих руках. – Очень... очень рад! Мы с вами знакомы!.. Я – Абогин... имел удовольствие видеть вас летом у Гнучева. Очень рад, что застал... Бога ради, не откажите поехать сейчас со мной... У меня опасно заболела жена... И экипаж со мной...

По голосу и движениям вошедшего заметно было, что он находился в сильно возбужденном состоянии. Точно испуганный пожаром или бешеной собакой, он едва сдерживал свое частое дыхание и говорил быстро, дрожащим голосом, и что-то неподдельно искреннее, детски-малодушное звучало в его речи. Как все испуганные и ошеломленные, он говорил короткими, отрывистыми фразами и произносил много лишних, совсем не идущих к делу слов.

– Я боялся не застать вас, – продолжал он. – Пока ехал к вам, исстрадался душой... Одевайтесь и едемте, ради бога... Произошло это таким образом. Приезжает ко мне Папчинский, Александр Семенович, которого вы знаете... Поговорили мы... потом сели чай пить; вдруг жена вскрикивает, хватается за сердце и падает на спинку стула. Мы отнесли ее на кровать и... я уж и нашатырным спиртом тер ей виски, и водой брызгал... лежит, как мертвая... Боюсь, что это аневризма... Поедемте... У нее и отец умер от аневризмы...

Кирилов слушал и молчал, как будто не понимал русской речи.

Когда Абогин еще раз упомянул про Папчинского и про отца своей жены и еще раз начал искать в потемках руку, доктор встряхнул головой и сказал, апатично растягивая каждое слово:

– Извините, я не могу ехать... Минут пять назад у меня... умер сын...

– Неужели? – прошептал Абогин, делая шаг назад. – Боже мой, в какой недобрый час я попал! Удивительно несчастный день... удивительно! Какое совпадение... и как нарочно!

Абогин взялся за ручку двери и в раздумье поник головой. Он, видимо, колебался и не знал, что делать: уходить или продолжать просить доктора.

– Послушайте, – горячо сказал он, хватая Кирилова за рукав, – я отлично понимаю ваше положение! Видит бог, мне стыдно, что я в такие минуты пытаюсь овладеть вашим вниманием, но что же мне делать? Судите сами, к кому я поеду? Ведь, кроме вас, здесь нет другого врача. Поедемте ради бога! Не за себя я прошу... Не я болен!

Наступило молчание. Кирилов повернулся спиной к Абогину, постоял и медленно вышел из передней в залу. Судя по его неверной, машинальной походке, по тому вниманию, с каким он в зале поправил на негоревшей лампе мохнатый абажур и заглянул в толстую книгу, лежавшую на столе, в эти минуты у него не было ни намерений, ни желаний, ни о чем он не думал и, вероятно, уже не помнил, что у него в передней стоит чужой человек. Сумерки и тишина залы, по-видимому, усилили его ошалелость. Идя из залы к себе в кабинет, он поднимал правую ногу выше, чем следует, искал руками дверных косяков, и в это время во всей его фигуре чувствовалось какое-то недоумение, точно он попал в чужую квартиру или же первый раз в

жизни напился пьян и теперь с недоумением отдавался своему новому ощущению. По одной стене кабинета, через шкапы с книгами, тянулась широкая полоса света; вместе с тяжелым, спертым запахом карболки и эфира этот свет шел из слегка отворенной двери, ведущей из кабинета в спальню... Доктор опустился в кресло перед столом; минуту он сонливо глядел на свои освещенные книги, потом поднялся и пошел в спальню.

Здесь, в спальне, царил мертвый покой. Всё до последней мелочи красноречиво говорило о недавно пережитой буре, об утомлении, и всё отдыхало. Свечка, стоявшая на табурете в тесной толпе стклянок, корбоек и баночек, и большая лампа на комодке ярко освещали всю комнату. На кровати, у самого окна, лежал мальчик с открытыми глазами и удивленным выражением лица. Он не двигался, но открытые глаза его, казалось, с каждым мгновением всё более темнели и уходили вовнутрь черепа. Положив руки на его туловище и спрятав лицо в складки постели, перед кроватью стояла на коленях мать. Подобно мальчику, она не шевелилась, но сколько живого движения чувствовалось в изгибах ее тела и в руках! Припадала она к кровати всем своим существом, с силой и жадностью, как будто боялась нарушить покойную и удобную позу, которую наконец нашла для своего утомленного тела. Одежда, тряпки, тапы, лужи на полу, разбросанные повсюду кисточки и ложки, белая бутылка с известковой водой, самый воздух, душлистый и тяжелый, – всё замерло и казалось погруженным в покой.

Доктор остановился около жены, засунул руки в карманы брюк и, склонив голову набок, устремил взгляд на сына. Лицо его выражало равнодушие, только по росинкам, блестящим на его бороде, и заметно было, что он недавно плакал.

Тот отталкивающий ужас, о котором думают, когда говорят о смерти, отсутствовал в спальне. Во всеобщем столбняке, в позе матери, в равнодушии докторского лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, которую не скоро еще научатся понимать и описывать и которую умеет передавать, кажется, одна только музыка. Красота чувствовалась и в угрюмой тишине; Кирилов и его жена молчали, не плакали, как будто, кроме тяжести потери, сознавали также и весь лиризм своего положения: как когда-то, в свое время, прошла их молодость, так теперь, вместе с этим мальчиком, уходило навсегда в вечность и их право иметь детей! Доктору 44 года, он уже сед и выглядит стариком; его поблекшей и больной жене 35 лет. Андрей был не только единственным, но и последним.

В противоположность своей жене доктор принадлежал к числу натур, которые во время душевной боли чувствуют потребность в движении. Постояв около жены минут пять, он, высоко поднимая правую ногу, из спальни прошел в маленькую комнату, наполовину занятую большим, широким диваном; отсюда прошел в кухню. Поблуждав около печки и кухаркиной постели, он нагнулся и сквозь маленькую дверцу вышел в переднюю.

Тут он опять увидел белое кашне и бледное лицо.

– Наконец-то! – вздохнул Абогин, берясь за ручку двери. – Едемте, пожалуйста!

Доктор вздрогнул, поглядел на него и вспомнил...

– Послушайте, ведь я уже сказал вам, что мне нельзя ехать! – сказал он, оживляясь. – Как странно!

– Доктор, я не истукан, отлично понимаю ваше положение... сочувствую вам! – сказал умоляющим голосом Абогин, прикладывая в своему кашне руку. – Но ведь я не за себя прошу... Умирает моя жена! Если бы вы слышали этот крик, видели ее лицо, то поняли бы мою настойчивость! Боже мой, а уж я думал, что вы пошли одеваться! Доктор, время дорого! Едемте, прошу вас!

– Ехать я не могу! – сказал с расстановкой Кирилов и шагнул в залу.

Абогин пошел за ним и схватил его за рукав.

– У вас горе, я понимаю, но ведь приглашаю я вас не зубы лечить, не в эксперты, а спасать жизнь человеческую! – продолжал он умолять, как нищий. – Эта жизнь выше всякого личного горя! Ну, я прошу мужества, подвига! Во имя человеколюбия!

– Человеколюбие – палка о двух концах! – раздраженно сказал Кирилов. – Во имя того же человеколюбия я прошу вас не увозить меня. И как странно, ей-богу! Я едва на ногах стою, а вы человеколюбием пугаете! Никуда я сейчас не годен... не поеду ни за что, да и на кого я жену оставлю? Нет, нет...

Кирилов замахал кистями рук и попятился назад.

– И... и не просите! – продолжал он испуганно. – Извините меня... По XIII тому законов я обязан ехать<sup>19</sup>, и вы имеете право тащить меня за шиворот... Извольте, тащите, но... я не годен... Даже говорить не в состоянии... Извините...

– Напрасно, доктор, вы говорите со мной таким тоном! – сказал Абогин, опять беря доктора за рукав. – Бог с ним, с XIII томом! Насиловать вашей воли я не имею никакого права. Хотите – поезжайте, не хотите – бог с вами, но я не к воле вашей обращаюсь, а к чувству. Умирает молодая женщина! Сейчас, вы говорите, у вас умер сын, кому же, как не вам, понять мой ужас?

Голос Абогина дрожал от волнения; в этой дрожи и в тоне было гораздо больше убедительности, чем в словах. Абогин был искренен, но замечательно, какие бы фразы он ни говорил, все они выходили у него ходульными, бездушными, неуместно цветистыми и как будто даже оскорбляли и воздух докторской квартиры и умирающую где-то женщину. Он и сам это чувствовал, а потому, боясь быть непонятым, изо всех сил старался придать своему голосу мягкость и нежность, чтобы взять если не словами, то хотя бы искренностью тона. Вообще фраза, как бы она ни была красива и глубока, действует только на равнодушных, но не всегда может удовлетворить тех, кто счастлив или несчастлив; потому-то высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие; влюбленные понимают друг друга лучше, когда молчат, а горячая, страстная речь, сказанная на могиле, трогает только посторонних, вдове же и детям умершего кажется она холодной и ничтожной.

Кирилов стоял и молчал. Когда Абогин сказал еще несколько фраз о высоком призвании врача, о самопожертвовании и проч., доктор спросил угрюмо:

– Далеко ехать?

– Что-то около 13–14 верст. У меня отличные лошади, доктор! Даю вам честное слово, что доставлю вас туда и обратно в один час. Только один час!

Последние слова подействовали на доктора сильнее, чем ссылки на человеколюбие или призвание врача. Он подумал и сказал со вздохом:

– Хорошо, едемте!

Он быстро, уже верною походкой пошел к своему кабинету и немного погодя вернулся в длинном сюртуке. Мелко семеня возле него и шаркая ногами, обрадованный Абогин помог ему надеть пальто и вместе с ним вышел из дома.

На дворе было темно, но светлее, чем в передней. В темноте уже ясно вырисовывалась высокая сутуловатая фигура доктора с длинной, узкой бородой и с орлиным носом. У Абогина, кроме бледного лица, теперь видна была его большая голова и маленькая, студенческая шапочка, едва прикрывавшая темя. Кашне белело только спереди, позади же оно пряталось за длинными волосами.

---

<sup>19</sup> Во имя человеколюбия! ~ По XIII тому законов я обязан ехать... – «Свод законов Российской империи», тт. I–XV (1857). Том XIII заключал в себе в числе прочих и уставы врачебные. Абогин ссылается на следующую статью устава: «Первый долг всякого врача есть: быть человеколюбивым и во всяком случае готовым к оказанию деятельной помощи всякого звания людям, болезнями одержимым <...> каждый, не оставивший практики врач, оператор и т. п., обязан по приглашению больных являться для подаяния им помощи» («Свод законов», т. тринадцатый. СПб., 1857. III. Свод учреждений и Уставов врачебных по гражданской части, ст. 114, стр. 22).

– Верьте, я сумею оценить ваше великодушие, – бормотал Абогин, подсаживая доктора в коляску. – Мы живо домчимся. Ты же, Лука, голубчик, поезжай как можно скорее! Пожалуйста!

Кучер ехал быстро. Сначала тянулся ряд невзрачных построек, стоявших вдоль больничного двора; всюду было темно, только в глубине двора из чьего-то окна, сквозь палисадник, пробивался яркий свет, да три окна верхнего этажа больничного корпуса казались бледнее воздуха. Затем коляска въехала в густые потемки; тут пахло грибной сыростью и слышался шёпот деревьев; вороны, разбуженные шумом колес, закопошились в листве и подняли тревожный жалобный крик, как будто знали, что у доктора умер сын, а у Абогина больна жена. Но вот замелькали отдельные деревья, кустарник; сверкнул угрюмо пруд, на котором спали большие черные тени, – и коляска покатила по гладкой равнине. Крик ворон слышался уже глухо, далеко сзади и скоро совсем умолк.

Почти всю дорогу Кирилов и Абогин молчали. Только раз Абогин глубоко вздохнул и пробормотал:

– Мучительное состояние! Никогда так не любишь близких, как в то время, когда рискуешь потерять их.

И когда коляска тихо переезжала реку, Кирилов вдруг встрепенулся, точно его испугал плеск воды, и задвигался.

– Послушайте, отпустите меня, – сказал он тоскливо. – Я к вам потом приеду. Мне бы только фельдшера к жене послать. Ведь она одна!

Абогин молчал. Коляска, покачиваясь и стуча о камни, проехала песочный берег и покатила далее. Кирилов заметался в тоске и поглядел вокруг себя. Позади, сквозь скудный свет звезд, видна была дорога и исчезающие в потемках прибрежные ивы. Направо лежала равнина, такая же ровная и безграничная, как небо; далеко на ней там и сям, вероятно, на торфяных болотах, горели тусклые огоньки. Налево, параллельно дороге, тянулся холм, кудрявый от мелкого кустарника, а над холмом неподвижно стоял большой полумесяц, красный, слегка подернутый туманом и окруженный мелкими облачками, которые, казалось, оглядывали его со всех сторон и стерегли, чтобы он не ушел.

Во всей природе чувствовалось что-то безнадежное, больное; земля, как падшая женщина, которая одна сидит в темной комнате и старается не думать о прошлом, томилась воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидала неизбежной зимы. Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась темной, безгранично глубокой и холодной ямой, откуда не выбраться ни Кирилову, ни Абогину, ни красному полумесяцу...

Чем ближе к цели была коляска, тем нетерпеливее становился Абогин. Он двигался, вскакивал, глядывался через плечо кучера вперед. А когда, наконец, коляска остановилась у крыльца, красиво задрапированного полосатой холстиной, и когда он поглядел на освещенные окна второго этажа, слышно было, как дрожало его дыхание.

– Если что случится, то... я не переживу, – сказал он, входя с доктором в переднюю и в волнении потирая руки. – Но не слышно суматохи, значит, пока еще благополучно, – прибавил он, вслушиваясь в тишину.

В передней не слышно было ни голосов, ни шагов, и весь дом казался спавшим, несмотря на яркое освещение. Теперь уж доктор и Абогин, бывшие до сего времени в потемках, могли разглядеть друг друга. Доктор был высок, сутуловат, одет неряшливо и лицо имел некрасивое. Что-то неприятно резкое, неласковое и суровое выражали его толстые, как у негра, губы, орлиный нос и вялый, равнодушный взгляд. Его нечесаная голова, впалые виски, преждевременные седины на длинной, узкой бороде, сквозь которую просвечивал подбородок, бледно-серый цвет кожи и небрежные, угловатые манеры – всё это своею черствостью наводило на мысль о пережитой нужде, бездолье, об утомлении жизнью и людьми. Глядя на всю его сухую фигуру, не верилось, чтобы у этого человека была жена, чтобы он мог плакать о ребенке. Абогин же

изображал из себя нечто другое. Это был плотный, солидный блондин, с большой головой и крупными, но мягкими чертами лица, одетый изящно, по самой последней моде. В его осанке, в плотно застегнутом сюртуке, в гриве и в лице чувствовалось что-то благородное, львиное; ходил он, держа прямо голову и выпятив вперед грудь, говорил приятным баритоном, и в манерах, с какими он снимал свое кашне или поправлял волосы на голове, сквозило тонкое, почти женское изящество. Даже бледность и детский страх, с каким он, раздеваясь, поглядывал вверх на лестницу, не портили его осанки и не умаляли сытости, здоровья и апломба, какими дышала вся его фигура.

– Никого нет и ничего не слышно, – сказал он, идя по лестнице. – Суматохи нет. Дай-то бог!

Он провел доктора через переднюю в большую залу, где темнел черный рояль и висела люстра в белом чехле; отсюда оба они прошли в маленькую, очень уютную и красивую гостиную, полную приятного розового полумрака.

– Ну, посидите тут, доктор, – сказал Абогин, – а я... сейчас. Я пойду погляжу и предупрежу.

Кирилов остался один. Роскошь гостиной, приятный полумрак и само его присутствие в чужом, незнакомом доме, имевшее характер приключения, по-видимому, не трогали его. Он сидел в кресле и разглядывал свои обожженные карболкой руки. Только мельком увидел он ярко-красный абажур, футляр от виолончели, да, покосившись в ту сторону, где тикали часы, он заметил чучело волка, такого же солидного и сытого, как сам Абогин.

Было тихо... Где-то далеко в соседних комнатах кто-то громко произнес звук «а!», прозвенела стеклянная дверь, вероятно, шкапа, и опять всё стихло. Подождав минут пять, Кирилов перестал оглядывать свои руки и поднял глаза на ту дверь, за которой скрылся Абогин.

У порога этой двери стоял Абогин, но не тот, который вышел. Выражение сытости и тонкого изящества исчезло на нем, лицо его, и руки, и поза были исковерканы отвратительным выражением не то ужаса, не то мучительной физической боли. Его нос, губы, усы, все черты двигались и, казалось, старались оторваться от лица, глаза же как будто смеялись от боли...

Абогин тяжело и широко шагнул на середину гостиной, согнулся, простонал и потряс кулаками.

– Обманула! – крикнул он, сильно напирая на слог *ну*. – Обманула! Ушла! Заболела и уснула меня за доктором для того только, чтобы бежать с этим шутком Папчинским! Боже мой!

Абогин тяжело шагнул к доктору, протянул к его лицу свои белые мягкие кулаки и, потрясая ими, продолжал вопить:

– Ушла!! Обманула! Ну, к чему же эта ложь?! Боже мой! Боже мой! К чему этот грязный, шулерский фокус, эта дьявольская, змеиная игра? Что я ей сделал? Ушла!

Слезы брызнули у него из глаз. Он перевернулся на одной ноге и зашагал по гостиной. Теперь в своем коротком сюртуке, в модных узких брюках, в которых ноги казались не по корпусу тонкими, со своей большой головой и гривой он чрезвычайно походил на льва. На равнодушном лице доктора засветилось любопытство. Он поднялся и оглядел Абогина.

– Позвольте, где же больная? – спросил он.

– Больная! Больная! – крикнул Абогин, смеясь, плача и всё еще потрясая кулаками. – Это не больная, а проклятая! Низость! Подлость, гадже чего не придумал бы, кажется, сам сатана! Услала затем, чтобы бежать, бежать с шутком, тупым клоуном, альфонсом! О боже, лучше бы она умерла! Я не вынесу! Не вынесу я!

Доктор выпрямился. Его глаза замигали, налились слезами, узкая борода задвигалась направо и налево вместе с челюстью.

– Позвольте, как же это? – спросил он, с любопытством оглядываясь. – У меня умер ребенок, жена в тоске, одна на весь дом... сам я едва стою на ногах, три ночи не спал... и

что же? Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль бутафорской вещи! Не... не понимаю!

Абогин разжал один кулак, швырнул на пол скомканную записку и наступил на нее, как на насекомое, которое хочется раздавить.

– И я не видел... не понимал! – говорил он сквозь сжатые зубы, потрясая около своего лица одним кулаком и с таким выражением, как будто ему наступили на мозоль. – Я не замечал, что он ездит каждый день, не заметил, что он сегодня приехал в карете! Зачем в карете? И я не видел! Колпак!

– Не... не понимаю! – бормотал доктор. – Ведь это что же такое! Ведь это глумление над личностью, издевательство над человеческими страданиями! Это что-то невозможное... первый раз в жизни вижу!

С тупым удивлением человека, который только что стал понимать, что его тяжело оскорбили, доктор пожал плечами, развел руками и, не зная, что говорить, что делать, в изнеможении опустился в кресло.

– Ну, разлюбила, полюбила другого – бог с тобой, но к чему же обман, к чему этот подлый, изменнический фортель? – говорил плачущим голосом Абогин. – К чему? И за что? Что я тебе сделал? Послушайте, доктор, – горячо сказал он, подходя к Кирилову. – Вы были невольным свидетелем моего несчастья, и я не стану скрывать от вас правды. Клянусь вам, что я любил эту женщину, любил набожно, как раб! Для нее я пожертвовал всем: поссорился с родней, бросил службу и музыку, прощал ей то, чего не сумел бы простить матери или сестре... Ни разу я не поглядел на нее косо... не подавал никакого повода! За что же эта ложь? Я не требую любви, но зачем этот гнусный обман? Не любишь, так скажи прямо, честно, тем более, что знаешь мои взгляды на этот счет...

Со слезами на глазах, дрожа всем телом, Абогин искренно изливал перед доктором свою душу. Он говорил горячо, прижимая обе руки к сердцу, разоблачал свои семейные тайны без малейшего колебания и как будто даже рад был, что наконец эти тайны вырвались наружу из его груди. Поговори он таким образом час, другой, вылей свою душу, и, несомненно, ему стало бы легче. Кто знает, выслушай его доктор, посочувствуй ему дружески, быть может, он, как это часто случается, примирился бы со своим горем без протеста, не делая ненужных глупостей... Но случилось иначе. Пока Абогин говорил, оскорбленный доктор заметно менялся. Равнодушные и удивление на его лице мало-помалу уступили место выражению горькой обиды, негодования и гнева. Черты лица его стали еще резче, черствее и неприятнее. Когда Абогин поднес к его глазам карточку молодой женщины с красивым, но сухим и невыразительным, как у монашки, лицом и спросил, можно ли, глядя на это лицо, допустить, что оно способно выражать ложь, доктор вдруг вскочил, сверкнул глазами и сказал, грубо отчеканивая каждое слово:

– Зачем вы всё это говорите мне? Не желаю я слушать! Не желаю! – крикнул он и стукнул кулаком по столу. – Не нужны мне ваши пошлые тайны, чёрт бы их взял! Не смеете вы говорить мне эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорблен? Что я лакей, которого до конца можно оскорблять? Да?

Абогин попятился от Кирилова и изумленно уставился на него.

– Зачем вы меня сюда привезли? – продолжал доктор, тряся бородой. – Если вы с жиру женитесь, с жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чем тут я? Что у меня общего с вашими романами? Оставьте меня в покое! Упражняйтесь в благородном кулачестве, рисуйте гуманными идеями, играйте (доктор покосился на футляр с виолончелью) – играйте на контрабасах и тромбонах, жирейте, как каплуны, но не смейте глумиться над личностью! Не умеете уважать ее, так хоть избавьте ее от вашего внимания!

– Позвольте, что это всё значит? – спросил Абогин, краснея.

– А то значит, что низко и подло играть так людьми! Я врач, вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакеями и моветонами<sup>20</sup>, ну и считайте, но никто не дал вам права делать из человека, который страдает, бутафорскую вещь!

– Как вы смеете говорить мне это? – спросил тихо Абогин, и его лицо опять запрыгало и на этот раз уже ясно от гнева.

– Нет, как вы, зная, что у меня горе, смели привезти меня сюда выслушивать пошлости? – крикнул доктор и опять стукнул кулаком по столу. – Кто вам дал право так издеваться над чужим горем?

– Вы с ума сошли! – крикнул Абогин. – Не великодушно! Я сам глубоко несчастлив и... и...

– Несчастлив, – презрительно ухмыльнулся доктор. – Не трогайте этого слова, оно вас не касается. Шалопайи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди!

– Милостивый государь, вы забываетесь! – взвизгнул Абогин. – За такие слова... бьют! Понимаете?

Абогин торопливо полез в боковой карман, вытащил оттуда бумажник и, достав две бумажки, швырнул их на стол.

– Вот вам за ваш визит! – сказал он, шевеля ноздрями. – Вам заплачено!

– Не смеете вы предлагать мне деньги! – крикнул доктор и смахнул со стола на пол бумажки. – За оскорбление деньгами не платят!

Абогин и доктор стояли лицом к лицу и в гневе продолжали наносить друг другу незаслуженные оскорбления. Кажется, никогда в жизни, даже в бреду, они не сказали столько несправедливого, жестокого и нелепого. В обоих сильно сказался эгоизм несчастных. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье, и даже там, где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, прodelывается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чем в среде сравнительно довольной.

– Извольте отправить меня домой! – крикнул доктор, задыхаясь.

Абогин резко позвонил. Когда на его зов никто не явился, он еще раз позвонил и сердито швырнул колокольчик на пол; тот глухо ударился о ковер и издал жалобный, точно предсмертный стон. Явился лакей.

– Где вы попрятались, чёрт бы вас взял?! – набросился на него хозяин, сжимая кулаки. – Где ты был сейчас? Пошел, скажи, чтобы этому господину подали коляску, а для меня вели заложить карету! Постой! – крикнул он, когда лакей повернулся уходить. – Завтра чтоб ни одного предателя не оставалось в доме! Все вон! Нанимаю новых! Гадины!

В ожидании экипажей Абогин и доктор молчали. К первому уже вернулись и выражение сытости и тонкое изящество. Он шагал по гостиной, изящно встряхивал головой и, очевидно, что-то замышлял. Гнев его еще не остыл, но он старался показывать вид, что не замечает своего врага... Доктор же стоял, держался одной рукой о край стола и глядел на Абогина с тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с каким умеют глядеть только горе и бездолье, когда видят перед собой сытость и изящество.

Когда немного погодя доктор сел в коляску и поехал, глаза его всё еще продолжали глядеть презрительно. Было темно, гораздо темнее, чем час тому назад. Красный полумесяц уже ушел за холм, и сторожившие его тучи темными пятнами лежали около звезд. Карета в красными огнями застучала по дороге и перегнала доктора. Это ехал Абогин протестовать, делать глупости...

<sup>20</sup> Здесь: людьми дурного тона (*франц.* mauvais ton).

Всю дорогу доктор думал не о жене, не об Андрее, а об Абогине и людях, живших в доме, который он только что оставил. Мысли его были несправедливы и нечеловечно жестоки. Осудил он и Абогина, и его жену, и Папчинского, и всех, живущих в розовом полумраке и пахнущих духами, и всю дорогу ненавидел их и презирал до боли в сердце. И в уме его сложилось крепкое убеждение об этих людях.

Пройдет время, пройдет и горе Кирилова, но это убеждение, несправедливое, недостойное человеческого сердца, не пройдет и останется в уме доктора до самой могилы.

## Добрый немец

Иван Карлович Швей, старший мастер на сталелитейном заводе Функ и К°, был послан хозяином в Тверь исполнить на месте какой-то заказ. Провозился он с заказом месяца четыре и так соскучился по своей молодой жене, что потерял аппетит и раза два принимался плакать. Возвращаясь назад в Москву, он всю дорогу закрывал глаза и воображал себе, как он приедет домой, как кухарка Марья отворит ему дверь, как жена Наташа бросится к нему на шею и вскрикнет...

«Она не ожидает меня, – думал он. – Тем лучше. Неожиданная радость – это очень хорошо...»

Приехал он в Москву с вечерним поездом. Пока артельщик ходил за его багажом, он успел выпить в буфете две бутылки пива... От пива он стал очень добрым, так что, когда извозчик вез его с вокзала на Пресню, он всё время бормотал:

– Ты, извозчик, хороший извозчик... Я люблю русских людей!.. Ты русский, и моя жена русский, и я русский... Мой отец немец, а я русский человек... Я желаю драться с Германией...

Как он и мечтал, дверь отворила ему кухарка Марья.

– И ты русский, и я русский... – бормотал он, отдавая Марье багаж. – Все мы русские люди и имеем русские языки... А где Наташа?

– Она спит.

– Ну, не буди ее... Тсс... Я сам разбужу... Я желаю ее испугать и буду сюрприз... Тссс!

Сонная Марья взяла багаж и ушла в кухню.

Улыбаясь, потирая руки и подмигивая глазом, Иван Карлыч на цыпочках подошел к двери, ведущей в спальную, и осторожно, боясь скрипнуть, отворил ее...

В спальне было темно и тихо...

«Я сейчас буду ее испугать», – подумал Иван Карлыч и зажег спичку...

Но – бедный немец! – пока на его спичке разгоралась синим огоньком сера, он увидел такую картину. На кровати, что ближе к стене, спала женщина, укрытая с головою, так что видны были одни только голые пятки; на другой кровати лежал громадный мужчина с большой рыжей головой и с длинными усами...

Иван Карлыч не поверил глазам своим и зажег другую спичку... Сжег он одну за другой пять спичек – и картина представлялась всё такую же невероятной, ужасной и возмутительной. У немца подкосились ноги и одеревенела от холода спина. Пивной хмель вдруг вышел из головы, и ему уже казалось, что душа перевернулась вверх ногами. Первою его мыслью и желанием было – взять стул и хватить им со всего размаха по рыжей голове, потом схватить неверную жену за голую пятку и швырнуть ее в окно так, чтобы она выбила обе рамы и со звоном полетела вниз на мостовую.

«О нет, этого мало! – решил он после некоторого размышления. – Сначала я буду срамить их, пойду позову полицию и родню, а потом буду убивать их...»

Он надел шубу и через минуту уже шел по улице. Тут он горько заплакал. Он плакал и думал о людской неблагодарности... Эта женщина с голыми пятками была когда-то бедной швейкой, и он осчастливил ее, сделав женою ученого мастера, который у Функа и К° получает 750 рублей в год! Она была ничтожной, ходила в ситцевых платьях, как горничная, а благодаря ему она ходит теперь в шляпке и перчатках, и даже Функ и К° говорит ей «вы»...

И он думал: как ехидны и лукавы женщины! Наташа делала вид, что выходила за Ивана Карлыча по страстной любви, и каждую неделю писала ему в Тверь нежные письма...

«О, змея, – думал Швей, идя по улице. – О, зачем я женился на русском человеке? Русский нехороший человек! Варвар, мужик! Я желаю драться с Россией, чёрт меня возьми!»

Немного погодя он думал:

«И удивительно, променяла меня на какого-то каналью с рыжей головой! Ну, полюби она Функа и К°, я простил бы ей, а то полюбила какого-то чёрта, у которого нет в кармане гривенника! О, я несчастный человек!»

Отерев глаза, Швей зашел в трактир.

– Дай мне бумаги и чернил! – сказал он половому. – Я желаю писать!

Дрожащею рукою он написал сначала письмо к родителям жены, живущим в Серпухове. Он писал старикам, что честный ученый мастер не желает жить с распутной женщиной, что родители свиньи и дочери их свиньи, что Швей желает плевать на кого угодно... В заключение он требовал, чтобы старики взяли к себе свою дочь вместе с ее рыжим мерзавцем, которого он не убил только потому, что не желает марать рук.

Затем он вышел из трактира и опустил письмо в почтовый ящик. До четырех часов утра блуждал он по городу и думал о своем горе. Бедняга похудел, осунулся и пришел к заключению, что жизнь – это горькая насмешка судьбы, что жить – глупо и недостойно порядочного немца. Он решил не мстить ни жене, ни рыжему человеку. Самое лучшее, что он мог сделать, это – наказать жену великодушием.

«Пойду выскажу ей всё, – думал он, идя домой, – а потом лишу себя жизни... Пусть будет счастлива со своим рыжим, а я мешать не буду...»

И он мечтал, как он умрет и как жена будет томиться от угрызений совести.

– Мое имущество я ей оставлю, да! – бормотал он, дергая за свой звонок. – Рыжий лучше меня, пусть-ка тоже заработает 750 рублей в год!

И на этот раз дверь открыла ему кухарка Марья, которая очень удивилась, увидев его.

– Позови Наталью Петровну, – сказал он, не снимая шубы. – Я желаю разговаривать...

Через минуту пред Иваном Карлычем стояла молодая женщина в одной сорочке, босая и с удивленным лицом... Плача и поднимая обе руки вверх, обманутый муж говорил:

– Я всё знаю! Меня нельзя обмануть! Я собственными глазами видел рыжего скотину с длинными усами!

– Ты с ума сошел! – крикнула жена. – Что ты так кричишь? Разбудишь жильцов!

– О, рыжий мошенник!

– Говорю же тебе, не кричи! Напился пьян и кричит! Ступай спать!

– Не желаю я спать с рыжим на одной кровати! Прощай!

– Да ты с ума сошел! – рассердилась жена. – Ведь у нас жильцы! В той комнате, где была наша спальня, слесарь с женой живет!

– А... а? Какой слесарь?

– Да рыжий слесарь с женой. Я их пустила за четыре рубля в месяц... Не кричи, а то разбудишь!

Немец выпучил глаза и долго смотрел на жену; потом нагнул голову и медленно свистнул...

– Теперь я понимаю... – сказал он.

Немного погодя немецкая душа опять уже приняла свое прежнее положение, и Иван Карлыч чувствовал себя прекрасно.

– Ты у меня русский, – бормотал он, – и кухарка русский, и я русский... Все имеем русские языки... Слесарь – хороший слесарь, и я желаю его обнимать... Функ и К° тоже хороший Функ и К°... Россия великолепная земля... С Германией я желаю драться...

## Темнота

Молодой парень, белобрысый и скуластый, в рваном тулупчике и в больших черных валенках, выждал, когда земский доктор, кончив приемку, возвращался из больницы к себе на квартиру, и подошел к нему несмело.

– К вашей милости, – сказал он.

– Что тебе?

Парень ладонью провел себе по носу снизу вверх, поглядел на небо и потом уже ответил:

– К вашей милости... Тут у тебя, вашескоблородие, в арестантской палате мой брат Васька, кузнец из Варварина...

– Да, так что же?

– Я, стало быть, Васькин брат... У отца нас двое: он – Васька, да я – Кирила. Акроме нас три сестры, а Васька женатый, и ребятёнок есть... Народу много, а работать некому... В кузнице, почитай, уже два года огня не раздували. Сам я на ситцевой фабрике, кузнечить не умею, а отец какой работник? Не токмо, скажем, работать, путем есть не может, ложку мимо рта несет.

– Что же тебе от меня нужно?

– Сделай милость, отпусти Ваську!

Доктор удивленно поглядел на Кирилу и, ни слова не сказавши, пошел дальше. Парень забежал вперед и бухнул ему в ноги.

– Доктор, господин хороший! – взмолился он, моргая глазами и опять проводя ладонью по носу. – Яви божескую милость, отпусти ты Ваську домой! Заставь вечно бога молить! Ваше благородие, отпусти! С голоду все дохнут! Мать день-деньской ревет, Васькина баба ревет... просто смерть! На свет белый не глядел бы! Сделай милость, отпусти его, господин хороший!

– Да ты глуп или с ума сошел? – спросил доктор, глядя на него сердито. – Как же я могу его отпустить? Ведь он арестант!

Кирила заплакал.

– Отпусти!

– Тьфу, чудак! Какое же я имею право? Тюремщик я, что ли? Привели его ко мне в больницу лечиться, я лечу, а отпускать его я имею такое же право, как тебя засадить в тюрьму. Глупая голова!

– Да ведь его задаром посадили! Покеда до суда он, почитай, год в остроге сидел, а теперь, спрашивается, за что сидит? Добро бы, убивал, скажем, или коней крал, а то так попал, здорово живешь.

– Верно, но я-то тут при чем?

– Посадили мужика и сами не знают, за что. Был он выпивши, ваше благородие, ничего не помнил и даже отца по уху урезал, щеку себе напорол на сук спьяна-то, а двое наших ребят – захотелось им, видишь, турецкого табаку – стали ему говорить, чтобы он с ними ночью в армяшкину лавку забрался, за табаком. Он спьяна-то послушался, дурак. Сломали они это, знаешь, замок, забрались и давай чертить. Всё разворочали, стекла побили, муку рассыпали. Пьяные – одно слово! Ну, сичас урядник... то да сё, к следователю. Год цельный в остроге сидели, а неделю назад, в среду, судили всех трех, в городе. Солдат сзади с ружьем... присягал народ. Васька-то всех меньше виноват, а господа так рассудили, что он первый коновод. Обоих ребят в острог, а Ваську в арестантскую роту на три года. А за что? Рассуди по-божецки!

– Опять-таки я тут ни при чем. Ступай к начальству.

– Я уже был у начальства! Ходил в суд, хотел прошение подать, они и прошения не взяли. Был я и у станowego, и у следователя был, и всякий говорит: «Не мое дело!» Чье ж дело? А в больнице тут старшей тебя нет. Что хочешь, ваше благородие, то и делаешь.

– Дурак ты! – вздохнул доктор. – Раз присяжные обвинили, то уж тут не может ничего поделывать ни губернатор, ни даже министр, а не то что становой. Напрасно хлопчешь!

– А судил-то кто?

– Господа присяжные заседатели...

– Какие же это господа? Наши же мужики были! Андрей Гурьев был, Алешка Хук был.

– Ну, мне холодно с тобой разговаривать...

Доктор махнул рукой и быстро пошел к своей двери. Кирила хотел было пойти за ним, но, увидев, как хлопнула дверь, остановился. Минут десять стоял он неподвижно среди больничного двора и, не надевая шапки, глядел на докторскую квартиру, потом глубоко вздохнул, медленно почесался и пошел к воротам.

– К кому же идти? – бормотал он, выходя на дорогу. – Один говорит – не мое дело, другой говорит – не мое дело. Чье же дело? Нет, верно, пока не подмажешь, ничего не поделаешь. Доктор-то говорит, а сам всё время на кулак мне глядит: не дам ли синенькую<sup>21</sup>? Ну, брат, я и до губернатора дойду.

Переминаясь с ноги на ногу, то и дело оглядываясь без всякой надобности, он лениво плелся по дороге и, по-видимому, раздумывал, куда идти... Было не холодно, и снег слабо поскрипывал у него под ногами. Перед ним, не дальше как в полуверсте, расстился на холме уездный городишко, в котором недавно судили его брата. Направо темнел острог с красной крышей и с будками по углам, налево была большая городская роща, теперь покрытая инеем. Было тихо, только какой-то старик в бабьей кацавейке и в громадном картузе шел впереди, кашлял и покрикивал на корову, которую гнал к городу.

– Дед, здорово! – проговорил Кирила, поравнявшись со стариком.

– Здорово...

– Продавать гонишь?

– Нет, так... – лениво ответил старик.

– Мещанин, что ли?

Разговорились. Кирила рассказал, зачем он был в больнице и о чем говорил с доктором.

– Оно, конечно, доктор этих делов не знает, – говорил ему старик, когда оба они вошли в город. – Он хоть и барин, но обучен лечить всякими средствами, а чтоб совет настоящий тебе дать или, скажем, протокол написать – он этого не может. На то особое начальство есть. У мирового и станового ты был. Эти тоже в твоём деле не способны.

– Куда ж идти?

– По вашим крестьянским делам самый главный и к этому приставлен непрременный член<sup>22</sup>. К нему и иди. Господин Синеоков.

– Это что в Золотове?

– Ну да, в Золотове. Он у вас главный. Ежели что по вашим делам касающееся, то супротив него даже исправник не имеет полного права.

– Далече, брат, идти!.. Чай, верст пятнадцать, а то и больше.

– Кому надобность, тот и сто верст пройдет.

– Оно так... Прощение ему подать, что ли?

– Там узнаешь. Коли прощение, писарь тебе живо напишет. У непрременного члена есть писарь.

Расставшись с дедом, Кирила постоял среди площади, подумал и пошел назад из города. Он решил сходить в Золотово.

<sup>21</sup> *Синенькая*... – В дореволюционной России пятирублевый денежный билет был синего цвета.

<sup>22</sup> *Непрременный член*... – Законом 27 июня 1874 г. были организованы уездные по крестьянским делам присутствия, под председательством уездного предводителя дворянства. Непрременный член, входивший в их состав, решал дела только по земельному устройству крестьян; уголовные дела рассматривались в губернском по крестьянским делам присутствии.

Дней через пять, возвращаясь после приемки больных к себе на квартиру, доктор опять увидел у себя на дворе Кирилу. На этот раз парень был не один, а с каким-то тощим, очень бледным стариком, который, не переставая, кивал головой, как маятником, и шамкал губами.

– Ваше благородие, я опять к твоей милости! – начал Кирила. – Вот с отцом пришел, сделай милость, отпусти Ваську! Непременный член разговаривать не стал. Говорит: «Пошел вон!»

– Ваше высокородие, – зашипел горлом старик, поднимая дрожащие брови, – будьте милостивы! Мы люди бедные, благодарить не можем вашу честь, но, ежели угодно вашей милости, Кирюшка или Васька отработать могут. Пущай работают.

– Отработаем! – сказал Кирила и поднял руку, точно желая принести клятву. – Отпусти! С голодудохнут! Ревма ревет, ваше благородие!

Парень быстро взглянул на отца, дернул его за рукав, и оба они, как по команде, повалились доктору в ноги. Тот махнул рукой и, не оглядываясь, быстро пошел к своей двери.

## Полинька

Второй час дня. В галантерейном магазине «Парижские новости», что в одном из пассажей<sup>23</sup>, торговля в разгаре. Слышен монотонный гул приказчицких голосов, гул, какой бывает в школе, когда учитель заставляет всех учеников зубрить что-нибудь вслух. И этого однообразного шума не нарушают ни смех дам, ни стук входной стеклянной двери, ни беготня мальчиков.

Посреди магазина стоит Полинька, дочь Марьи Андреевны, содержательницы модной мастерской, маленькая, худощавая блондинка, и ищет кого-то глазами. К ней подбегает чернобровый мальчик и спрашивает, глядя на нее очень серьезно:

– Что прикажете, сударыня?

– Со мной всегда Николай Тимофеич занимается, – отвечает Полинька.

А приказчик Николай Тимофеич, стройный брюнет, завитой, одетый по моде, с большой булавкой на галстуке, уже расчистил место на прилавке, вытянул шею и с улыбкой глядит на Полиньку.

– Пелагея Сергеевна, мое почтение! – кричит он хорошим, здоровым баритоном. – Пожалуйста!

– А, здрасте! – говорит Полинька, подходя к нему. – Видите, я опять к вам... Дайте мне аграманту<sup>24</sup> какого-нибудь.

– Для чего вам, собственно?

– Для лифчика, для спинки, одним словом, на весь гарнитурчик.

– Сию минуту.

Николай Тимофеич кладет перед Полинькой несколько сортов аграманта; та лениво выбирает и начинает торговаться.

– Помилуйте, рубль вовсе не дорого! – убеждает приказчик, снисходительно улыбаясь. – Это аграмант французский, восьмигранный... Извольте, у нас есть обыкновенный, весовой... Тот 45 копеек аршин, это уж не то достоинство! Помилуйте-с!

– Мне еще нужен стеклярусный бок с аграмантными пуговицами, – говорит Полинька, нагибаясь над аграмантом, и почему-то вздыхает. – А не найдутся ли у вас под этот цвет стеклярусные бонбошки?

– Есть-с.

Полинька еще ниже нагибается к прилавку и тихо спрашивает:

– А зачем это вы, Николай Тимофеич, в четверг ушли от нас так рано?

– Гм!.. Странно, что вы это заметили, – говорит приказчик с усмешкой. – Вы так были увлечены господином студентом, что... странно, как это вы заметили!

Полинька вспыхивает и молчит. Приказчик с нервной дрожью в пальцах закрывает коробки и без всякой надобности ставит их одна на другую. Проходит минута в молчании.

– Мне еще стеклярусных кружев, – говорит Полинька, поднимая виноватые глаза на приказчика.

– Каких вам? Стеклярусные кружева по тюлю, черные и цветные – самая модная отделка.

– А почему они у вас?

– Черные от 80 копеек, а цветные на 2 р. 50 к. А к вам я больше никогда не приду-с, – тихо добавляет Николай Тимофеич.

<sup>23</sup> В галантерейном магазине «Парижские новости», что в одном из пассажей... – Пассаж – крытый переход с одной улицы на другую с магазинами по обеим сторонам. В Москве в 1887 г. было несколько пассажей: Лубянский, Александровский (Театральная площадь), Голофтьевский (Петровка), Солодовникова (Кузнецкий мост). В последнем среди владельцев галантерейных магазинов был француз Г. Ф. Море.

<sup>24</sup> аграмант – плетеная тесьма, которою обшивались края дамских платьев.

– Почему?

– Почему? Очень просто. Сами вы должны понимать. С какой стати мне себя мучить? Странное дело! Нешто мне приятно видеть, как этот студент около вас разыгрывает роль-с? Ведь я всё вижу и понимаю. С самой осени он за вами ухаживает по-настоящему и почти каждый день вы с ним гуляете, а когда он у вас в гостях сидит, так вы в него впившись глазами, словно в ангела какого-нибудь. Вы в него влюблены, для вас лучше и человека нет, как он, ну и отлично, нечего и разговаривать...

Полинька молчит и в замешательстве водит пальцем по прилавку.

– Я всё отлично вижу, – продолжает приказчик. – Какой же мне резон к вам ходить? У меня самолюбие есть. Не всякому приятно пятым колесом в возу быть. Чего вы спрашивали-то?

– Мне мамаша много кой-чего велела взять, да я забыла. Еще плюмажу нужно.

– Какого прикажете?

– Получше, какой модней.

– Самый модный теперь из птичьего пера. Цвет, ежели желаете, модный теперь гелиотроп<sup>25</sup> или цвет канак, то есть бордо с желтым. Выбор громадный. А к чему вся эта история клонится, я решительно не понимаю. Вы вот влюбившись, а чем это кончится?

На лице Николая Тимофеича около глаз выступают красные пятна. Он мнет в руках нежную пушистую тесьму и продолжает бормотать:

– Воображаете за него замуж выйти, что ли? Ну, насчет этого – оставьте ваше воображение. Студентам запрещается жениться<sup>26</sup>, да и разве он к вам затем ходит, чтобы всё честным образом кончить? Как же! Ведь они, студенты эти самые, нас и за людей не считают... Ходят они к купцам да к модисткам только затем, чтоб над необразованностью посмеяться и пьянствовать. У себя дома да в хороших домах стыдно пить, ну, а у таких простых, необразованных людей, как мы, некого им стыдиться, можно и вверх ногами ходить. Да-с! Так какого же вы плюмажу возьмете? А ежели он за вами ухаживает и в любовь играет, то известно зачем... Когда станет доктором или адвокатом, будет вспоминать: «Эх, была у меня, скажет, когда-то блондиночка одна! Где-то она теперь?» Небось и теперь уж там, у себя, среди студентов, хвалится, что у него модисточка есть на примете.

Полинька садится на стул и задумчиво глядит на гору белых коробок.

– Нет, уж я не возьму плюмажу! – вздыхает она. – Пусть сама мамаша берет, какого хочет, а я ошибиться могу. Мне вы дайте шесть аршин бахромы для дипломата<sup>27</sup>, что по 40 копеек аршин. Для того же дипломата дадите пуговиц кокосовых, с насквозь прошивными ушками... чтобы покрепче держались...

Николай Тимофеич заворачивает ей и бахромы и пуговиц. Она виновато глядит ему в лицо и, видимо, ждет, что он будет продолжать говорить, но он угрюмо молчит и приводит в порядок плюмаж.

– Не забыть бы еще для капота пуговиц взять... – говорит она после некоторого молчания, утирая платком бледные губы.

– Каких вам?

– Для купчихи шьем, значит, дайте что-нибудь выдающееся из ряда обыкновенного...

– Да, если купчихе, то нужно выбирать попестрее. Вот-с пуговицы. Сочетание цветов синего, красного и модного золотистого. Самые глазастые. Кто поделикатнее, те берут у нас

<sup>25</sup> *гелиотроп* – красно-фиолетовый цвет.

<sup>26</sup> *Студентам запрещается жениться...* – В «Правилах для студентов и сторонних слушателей императорских российских университетов» (М., 1885; см. стр. 629), в разделе «Правила для студентов университета во время прохождения курса», сказано: «Студентам воспрещается вступать в брак во все время пребывания их в университете» (§ 17, стр. 14).

<sup>27</sup> *дипломат* – пальто, длинное, особого покроя.

черные матовые с одним блестящим ободочком. Только я не понимаю. Неужели вы сами не можете рассудить? Ну, к чему поведут эти... прогулки?

– Я сама не знаю... – шепчет Полинька и нагибается к пуговицам. – Я сама не знаю, Николай Тимофеич, что со мной делается.

За спиной Николая Тимофеича, прижав его к прилавку, протискивается солидный приказчик с бакенами и, сияя самою утонченною галантною, кричит:

– Будьте любезны, мадам, пожаловать в это отделение! Кофточки джерсе имеются три номера: гладкая, сутажет и со стеклярусом! Какую вам прикажете?

Одновременно около Полиньки проходят толстая дама, которая говорит густым низким голосом, почти басом:

– Только, пожалуйста, чтоб они были без шивок, а тканые, и чтоб пломба была вваленная.

– Делайте вид, что товар осматриваете, – шепчет Николай Тимофеич, наклоняясь к Полиньке и насильно улыбаясь. – Вы, бог с вами, какая-то бледная и больная, совсем из лица изменились. Бросит он вас, Пелагея Сергеевна! А если женится когда-нибудь, то не по любви, а с голода, на деньги ваши польстится. Сделает себе на приданое приличную обстановку, а потом стыдиться вас будет. От гостей и товарищей будет вас прятать, потому что вы необразованная, так и будет говорить: моя кувалда. Разве вы можете держать себя в докторском или адвокатском обществе? Вы для них модистка, невежественное существо!

– Николай Тимофеич! – кричит кто-то с другого конца магазина. – Вот мадемуазель просят три аршина ленты с пико<sup>28</sup>! Есть у нас?

Николай Тимофеич поворачивается в сторону, ослабляет свое лицо и кричит:

– Есть-с! Есть ленты с пико, атаман с атласом и атлас с муаром!

– Кстати, чтоб не забыть, Оля просила взять для нее корсет! – говорит Полинька.

– У вас на глазах... слезы! – пугается Николай Тимофеич... – Зачем это? Пойдемте к корсетам, я вас загорожу, а то неловко.

Насильно улыбаясь и с преувеличенною развязностью, приказчик быстро ведет Полиньку к корсетному отделению и прячет ее от публики за высокую пирамиду из коробок...

– Вам какой прикажете корсет? – громко спрашивает он и тут же шепчет: – Утрите глаза!

– Мне... мне в 48 сантиметров! Только, пожалуйста, она просила двойной с подкладкой... с настоящим китовым усом... Мне поговорить с вами нужно, Николай Тимофеич. Приходите нынче!

– О чем же говорить? Не о чем говорить.

– Вы один только... меня любите, и, кроме вас, не с кем мне поговорить.

– Не камыш, не кости, а настоящий китовый ус... О чем же нам говорить? Говорить не о чем... Ведь пойдете с ним сегодня гулять?

– По... пойду.

– Ну, так о чем же тут говорить? Не сможешь разговорами... Влюблены ведь?

– Да... – шепчет нерешительно Полинька, и из глаз ее брызжут крупные слезы.

– Какие же могут быть разговоры? – бормочет Николай Тимофеич, нервно пожимая плечами и бледнея. – Никаких разговоров и не нужно... Утрите глаза, вот и всё. Я... я ничего не желаю...

В это время к пирамиде из коробок подходит высокий тощий приказчик и говорит своей покупательнице:

– Не угодно ли, прекрасный эластик для подвязок, не останавливающий крови, признанный медициной...

<sup>28</sup> *пико* (франц.) – особый способ отделки кружев.

Николай Тимофеич загораживает Полиньку и, стараясь скрыть ее и свое волнение, морщит лицо в улыбку и громко говорит:

– Есть два сорта кружев, сударыня! Бумажные и шелковые! Ориенталь, британские, валенсьен, кроше, торшон – это бумажные-с, а рококо, сутажет, камбре – это шелковые... Ради бога, утрите слезы! Сюда идут!

И, видя, что слезы всё еще текут, он продолжает еще громче:

– Испанские, рококо, сутажет, камбре... Чулки фильдекосовые, бумажные, шёлковые...

## Пьяные

Фабрикант Фролов, красивый брюнет с круглой бородкой и с мягким, бархатным выражением глаз, и его поверенный, адвокат Альмер, пожилой мужчина, с большой жесткой головой, кутили в одной из общих зал загородного ресторана. Оба они приехали в ресторан прямо с бала, а потому были во фраках и в белых галстуках. Кроме них и лакеев у дверей, в зале не было ни души: по приказанию Фролова никого не впускали.

Начали с того, что выпили по большой рюмке водки и закусили устрицами.

– Хорошо! – сказал Альмер. – Это, брат, я пустил в моду устрицами закусывать. От водки пожжет, подерет тебе в горле, а как проглотишь устрицу, в горле чувствуешь сладострастие. Не правда ли?

Солидный лакей с бритыми усами и с седыми бакенами поставил на стол соусник.

– Что это ты подаешь? – спросил Фролов.

– Соус провансаль для селедки-с...

– Что? Разве так подают? – крикнул фабрикант, не поглядев в соусник. – Разве это соус? Подавать не умеешь, болван!

Бархатные глаза Фролова вспыхнули. Он обмотал вокруг пальца угол скатерти, сделал легкое движение, и закуски, подсвечники, бутылки – всё со звоном и с визгом загремело на пол.

Лакеи, давно уже привыкшие к кабацким катастрофам, подбежали к столу и серьезно, хладнокровно, как хирурги во время операции, стали подбирать осколки.

– Как это ты хорошо умеешь с ними, – сказал Альмер и засмеялся. – Но... отойди немножко от стола, а то в икру наступишь.

– Позвать сюда инженера! – крикнул Фролов.

Инженером назывался дряхлый, кислотицый старик, в самом деле бывший когда-то инженером и богатым человеком; он промотал всё свое состояние и под конец жизни попал в ресторан, где управлял лакеями и певицами и исполнял разные поручения по части женского пола. Явившись на зов, он почтительно склонил голову набок.

– Послушай, любезный, – обратился к нему Фролов, – что это за беспорядки? Как они у тебя подают? Разве ты не знаешь, что я этого не люблю? Чёрт вас подери, я перестану к вам ездить!

– Прошу великодушно извинить, Алексей Семеныч! – сказал инженер, прижимая руку к сердцу. – Я немедленно приму меры, и все ваши малейшие желания будут исполняемы самым лучшим и скорым образом.

– Ну, ладно, ступай...

Инженер поклонился, попятился назад, всё в наклонном положении, и исчез за дверью, сверкнув в последний раз своими фальшивыми брильянтами на сорочке и пальцах.

Закусочный стол опять был накрыт. Альмер пил красное, с аппетитом ел какую-то птицу с трюфелями и заказал себе еще матлот<sup>29</sup> из налимов и стерлядку кольчиком. Фролов пил одну водку и закусывал хлебом. Он мял ладонями лицо, хмурился, пыхтел и, видимо, был не в духе. Оба молчали. Было тихо. Два электрических фонаря в матовых колпаках мелькали и сипели, точно сердились. За дверями, тихо подпевая, проходили цыганки.

– Пьешь и никакой веселости, – сказал Фролов. – Чем больше в себя вливаю, тем становлюсь трезвее. Другие веселеют от водки, а у меня злоба, противные мысли, бессонница. Отчего это, брат, люди, кроме пьянства и беспутства, не придумают другого какого-нибудь удовольствия? Противно ведь!

– А ты цыганок позови.

<sup>29</sup> матлот – отварная рыба с пикантным соусом, под рагу.

– Ну их!

В дверях из коридора показалась голова старухи цыганки.

– Алексей Семеныч, цыгане просят чаю и коньяку, – сказала старуха. – Можно потребовать?

– Можно! – ответил Фролов. – Ты знаешь, ведь они с хозяина ресторана проценты берут за то, что требуют с гостей угощения. Нынче нельзя верить даже тому, кто на водку просит. Народ всё низкий, подлый, избалованный. Взять хоть этих вот лакеев. Физиономии, как у профессоров, седые, по двести рублей в месяц добывают, своими домами живут, дочек в гимназиях обучают, но ты можешь ругаться и тон задавать, сколько угодно. Инженер за целковый слопаёт тебе банку горчицы и петухом пропоёт. Честное слово, если б хоть один обиделся, я бы ему тысячу рублей подарил!

– Что с тобой? – спросил Альмер, глядя на него с удивлением. – Откуда эта меланхолия? Ты красный, зверем смотришь... Что с тобой?

– Скверно. Штука одна в голове сидит. Засела гвоздем, и ничем ее оттуда не выковыряешь.

В залу вошел маленький, кругленький, заплывший жиром старик, совсем лысый и облезлый, в кургузом пиджаке, в лиловой жилетке и с гитарой. Он соорудил идиотское лицо и вытянулся, сделав под козырек, как солдат.

– А, паразит! – сказал Фролов. – Вот рекомендую: состояние нажил тем, что свиной хрюкал. Подойди-ка сюда!

Фабрикант налил в стакан водки, вина, коньяку, насыпал соли и перцу, смешал всё это и подал паразиту. Тот выпил и ухарски крикнул.

– Он привык бурду пить, так что его от чистого вина мутит, – сказал Фролов. – Ну, паразит, садись и пей.

Паразит сел, потрогал жирными пальцами струны и запел:

Нитка-нитка, Маргаритка...

Выпив шампанского, Фролов опьянел. Он стукнул кулаком по столу и сказал:

– Да, штука в голове сидит! Ни на минуту покоя не дает!

– Да в чем дело?

– Не могу сказать. Секрет. Это у меня такая тайна, которую я только в молитвах могу говорить. Впрочем, если хочешь, по-дружески, между нами... только ты смотри, никому – ни-ни-ни... Я тебе выскажу, мне легче станет, но ты... ради бога выслушай и забудь...

Фролов нагнулся к Альмеру и полминуты дышал ему в ухо.

– Жену свою ненавижу! – проговорил он.

Адвокат поглядел на него с удивлением.

– Да, да, жену свою, Марью Михайловну, – забормотал Фролов, краснея. – Ненавижу, и всё тут.

– За что же?

– Сам не понимаю! Женат только два года, женился, сам знаешь, по любви, а теперь ненавижу ее уже, как врага постылого, как этого самого, извини, паразита. И причин ведь нет, никаких причин! Когда она около меня сидит, ест или если говорит что, то вся душа моя кипит, сдержат себя едва могу, чтобы не сгрубить ей. Просто такое делается, что и сказать нельзя. Уйти от нее или сказать ей правду никак невозможно, потому что скандал, а жить с ней для меня хуже ада. Не могу сидеть дома! Так, днем всё по делам да по ресторанам, а ночью по вертепам путаюсь. Ну, чем эту ненависть объяснишь? Ведь не какая-нибудь, а красавица, умная, тихая.

Паразит топнул ногой и запел:

С офицером я ходила,  
С ним секреты говорила...

– Признаться, мне всегда казалось, что Марья Михайловна тебе совсем не пара, – сказал Альмер после некоторого молчания и вздохнул.

– Скажешь, образованная? Послушай... Сам я в коммерческом с золотой медалью кончил, раза три в Париже был. Я не умнее тебя, конечно, но не глупее жены. Нет, брат, не в образовании загвоздка! Ты послушай, с чего началась-то вся эта музыка. Началось с того, что стало мне вдруг казаться, что вышла она не по любви, а ради богатства. Засела мне эта мысль в башку. Уж я и так и этак – сидит, проклятая! А тут еще жену жадность одолела. После бедности-то попала она в золотой мешок и давай сорить направо и налево. Ошалела, забылась до такой степени, что каждый месяц по двадцати тысяч раскидывала. А я мнительный человек. Никому я не верю, всех подозреваю, и чем ты ласковей со мной, тем мне мучительнее. Всё мне кажется, что мне льстят из-за денег. Никому не верю! Тяжелый я, брат, человек, очень тяжелый!

Фролов выпил залпом стакан вина и продолжал:

– Впрочем, всё это чепуха, – сказал он. – Об этом никогда не следует говорить. Глупо. Я спяна проболтался, а ты на меня теперь адвокатскими глазами глядишь – рад, что чужую тайну узнал. Ну, ну... оставим этот разговор. Будем пить! Послушай, – обратился он к лакею, – у вас Мустафа? Позови его сюда!

Немного погодя в залу вошел маленький татарчонок, лет двенадцати, во фраке и в белых перчатках.

– Поди сюда! – сказал ему Фролов. – Объясняй нам следующий факт. Было время, когда вы, татары, владели нами и брали с нас дань, а теперь вы у русских в лакеях служите и халаты продаете. Чем объяснить такую перемену?

Мустафа поднял вверх брови и сказал тонким голосом, нараспев:

– Превратность судьбы!

Альмер поглядел на его серьезное лицо и покотился со смеха.

– Ну, дай ему рубль! – сказал Фролов. – Этой превратностью судьбы он капитал наживает. Только из-за этих двух слов его и держат тут. Выпей, Мустафа! Бо-ольшой из тебя подлец выйдет! То есть страсть сколько вашего брата, паразитов, около богатого человека трется. Сколько вас, мирных разбойников и грабителей, развелось – ни проехать, ни пройти! Нешто еще цыган позвать? А? Вали сюда цыган!

Цыгане, давно уже томившиеся в коридорах, с гиканьем ворвались в залу, и начался дикий разгул.

– Пейте! – кричал им Фролов. – Пей, фараоново племя!<sup>30</sup> Пойте! И-и-х!

Зимнею порою... и-и-х!.. саночки летели...

Цыгане пели, свистали, плясали... В исступлении, которое иногда овладевает очень богатыми, избалованными «широкими натурами», Фролов стал дурить. Он велел подать цыганам ужин и шампанского, разбил матовый колпак у фонаря, швырял бутылками в картины и зеркала, и всё это, видимо, без всякого удовольствия, хмурясь и раздраженно прикрикивая, с презрением к людям, с выражением ненавистничества в глазах и в манерах. Он заставлял инженера петь solo, поил басов смесью вина, водки и масла...

---

<sup>30</sup> ...*фараоново племя!* – При первом появлении в Европе (XV в.) цыгане выдавали себя за выходцев из Египта; в Венгрии их называют «fharao перек» («фараонов народ»), а в Англии «Gipsy».

В шесть часов ему подали счет.

– 925 руб. 40 коп.! – сказал Альмер и пожал плечами. – За что это? Нет, постой, надо проверить!

– Оставь! – забормотал Фролов, вытаскивая бумажник. – Ну... пусть грабят... На то я и богатый, чтоб меня грабили... Без паразитов... нельзя... Ты у меня поверенный... шесть тысяч в год берешь, а... а за что? Впрочем, извини... я сам не знаю, что говорю.

Возвращаясь с Альмером домой, Фролов бормотал:

– Ехать домой мне – это ужасно! Да... Нет у меня человека, которому я мог бы душу свою открыть... Всё грабители... предатели... Ну, зачем я тебе свою тайну рассказал? За... зачем? Скажи: зачем?

У подъезда своего дома он потянулся к Альмеру и, пошатываясь, поцеловал его в губы, по старой московской привычке – целоваться без разбора, при всяком случае.

– Прощай... Тяжелый, скверный я человек, – сказал он. – Нехорошая, пьяная, бесстыдная жизнь. Ты образованный, умный человек, а только усмехаешься и пьешь со мной, ни... никакой помощи от всех вас... А ты бы, если ты мне друг, если ты честный человек, по-настоящему, должен был бы сказать: «Эх, подлый, скверный ты человек! Гадина ты!»

– Ну, ну... – забормотал Альмер. – Иди спать.

– Никакой помощи от вас. Только и надежды, что вот, когда летом буду на даче, выйду в поле, а надвинет гроза, ударит гром и разразит меня на месте... Про... прощай...

Фролов еще раз поцеловался с Альмером и, засыпая на ходу, бормоча, поддерживаемый двумя лакеями, стал подниматься по лестнице.

## Неосторожность

Петр Петрович Стрижин, племянник полковницы Ивановой, тот самый, у которого в прошлом году украли новые калоши, вернулся с крестин ровно в два часа ночи. Чтобы не разбудить своих, он осторожно разделся в передней, на цыпочках, чуть дыша, пробрался к себе в спальню и, не зажигая огня, стал готовиться ко сну.

Стрижин ведет жизнь трезвую и регулярную, выражение лица у него душеспасительное, книжки он читает только духовно-нравственные, но на крестинах от радости, что Любовь Спиридоновна благополучно разрешилась от бремени, он позволил себе выпить четыре рюмки водки и стакан вина, напоминавшего своим вкусом что-то среднее между уксусом и касторовым маслом. Горячие же напитки подобны морской воде или славе: чем больше пьешь, тем сильнее жаждешь... И теперь, раздеваясь, Стрижин чувствовал непреодолимое желание выпить.

«У Дашеньки, кажется, есть водка в шкапу, в правом углу, – думал он. – Если я выпью одну рюмку, то она не заметит».

После некоторого колебания, пересилив свой страх, Стрижин направился к шкапу. Отворив осторожно дверцу, он нащупал в правом углу бутылку и рюмку, налил, поставил бутылку на место, потом перекрестился и выпил. И тотчас же произошло нечто вроде чуда. Со страшной силой, точно бомбу, Стрижина вдруг отбросило от шкапа к сундуку. В глазах его засверкало, дыхание сперло, по всему телу пробежало такое ощущение, как будто он упал в болото, полное пьавок. Ему показалось, что вместо водки он проглотил кусок динамита, который взорвал его тело, дом, весь переулочек... Голова, руки, ноги – всё оторвалось и полетело куда-то к чёрту, в пространство...

Минуты три он лежал на сундуке неподвижно, не дыша, потом поднялся и спросил себя:

– Где я?

Первое, что он ясно ощутил, придя в себя, это был резкий запах керосина.

– Батюшки мои, это я вместо водки керосину выпил! – ужаснулся он. – Святители угодники!

От мысли, что он отравился, его бросило и в холод и в жар. Что яд был действительно принят, свидетельствовали, кроме запаха в комнате, жжение во рту, искры в глазах, звон колоколов в голове и колотье в желудке. Чувствуя приближение смерти и не обманывая себя напрасными надеждами, он пожелал проститься с близкими и отправился в спальню Дашеньки. (Будучи вдовым, он у себя в квартире держал вместо хозяйки свою свояченицу Дашеньку, старую деву.)

– Дашенька! – сказал он плачущим голосом, входя в спальню. – Дорогая Дашенька!

Что-то заворчалось в потемках и испустило глубокий вздох.

– Дашенька!

– А? Что? – быстро заговорил женский голос. – Это вы, Петр Петрович? Уже вернулись? Ну, что? Как назвали девочку? Кто был кумой?

– Кумой была Наталья Андреевна Великосветская, а кумом – Павел Иваныч Бессонницын... Я... я, Дашенька, кажется, умираю. А новорожденную назвали Олимпиадой в честь ихней благодетельницы... Я... я, Дашенька, выпил керосину...

– Вот еще! Нешто там подавали керосин?

– Признаться, я хотел, не спросясь вас, водки выпить, и... и бог наказал: по нечаянности я в потемках керосину выпил... Что мне делать?

Дашенька, услышав, что без ее разрешения отворяли шкап, оживилась... Она быстро зажгла свечку, прыгнула с постели и в одной сорочке, весноватая, костлявая, в папильотках, зашлепала босыми ногами к шкапу.

– Кто же это вам позволил? – спросила она строго, оглядывая внутренность шкапа. – Нешто водка для вас поставлена?

– Я... я, Дашенька, пил не водку, а керосин... – пробормотал Стрижин, отирая холодный пот.

– А зачем вам керосин трогать? Разве это ваше дело? Для вас он поставлен? Или, по вашему, керосин денег не стоит? А? Да вы знаете, почему теперь керосин? Знаете?

– Дорогая Дашенька! – простонал Стрижин. – Вопрос идет о жизни и смерти, а вы о деньгах!

– Напился пьяный и в шкап сует свой нос! – крикнула Дашенька, сердито хлопнув дверцей. – О, изверги, мучители! Страдалица я, несчастная, ни днем, ни ночью покою! Аспиды-василиски, ироды окаянные, чтоб вам на том свете так жилось! Завтра же съезжаю! Я девица и не позволю вам стоять передо мною в одном нижнем белье! Вы не смеете глядеть на меня, когда я не одета!

И пошла, и пошла... Зная, что рассерженную Дашеньку не уймешь ни мольбами, ни клятвами, ни даже пальбой из пушек, Стрижин махнул рукой, оделся и решил сходить к доктору. Но доктора легко найти только тогда, когда он не нужен. Избегав три улицы и позвонившись раз пять к доктору Чепхарьянцу и семь раз к доктору Бултыхину, Стрижин побежал в аптеку: авось поможет аптекарь. Тут, после долгого ожидания, к нему вышел маленький, чернявый и кудрявый фармацевт, заспанный, в халате и с таким серьезным и умным лицом, что даже стало страшно.

– Вам что угодно? – спросил он тоном, каким могут говорить только очень умные и солидные фармацевты иудейского вероисповедания.

– Ради бога... прошу вас! – проговорил Стрижин, задыхаясь. – Дайте мне чего-нибудь... Я сейчас по нечаянности керосину выпил! Умираю!

– Прошу вас не волноваться и отвечать на вопросы, которые я буду вам задавать. Уже один тот факт, что вы волнуетесь, не позволяет мне понимать вас. Вы выпили керосину? Да-а?

– Да, керосину! Спасите, пожалуйста!

Фармацевт хладнокровно и серьезно подошел к конторке, раскрыл книгу и погрузился в чтение. Прочитав две страницы, он пожал одним плечом, потом другим, соорудил презрительную гримасу и, подумав, вышел в смежную комнату. Часы пробили четыре. И когда они показывали десять минут пятого, фармацевт вернулся с другой книгой и опять погрузился в чтение.

– Гм! – сказал он, как бы недоумевая. – Уже один тот факт, что вы чувствуете себя нехорошо, нужно, чтоб вы обратились не в аптеку, а к врачу.

– Но я уже был у докторов! Не дозвонился!

– Гм... Вы нас, фармацевтов, не считаете за людей и беспокоите даже в четыре часа ночи, а каждая собаке, каждый кошке имеет покой... Вы ничего не желаете понимать, и, по-вашему, мы не люди и в нас нервы должен быть, как веровка.

Стрижин выслушал фармацевта, вздохнул и пошел домой.

«Стало быть, суждено умереть!» – думал он.

А во рту у него горело и пахло керосином, в желудке резало, в ушах раздавалось: бум, бум, бум! Каждую минуту ему казалось, что конец его уже близок, что сердце его уже не бьется...

Придя домой, он поспешил написать: «Прошу в моей смерти никого не винить», потом помолился богу, лег и укрылся с головой. До утра он не спал и ждал смерти, и всё время ему мерещилось, как его могила покрывается молодой зеленью и как над нею щебечут птички...

А утром он сидел на кровати и, улыбаясь, говорил Дашеньке:

– Кто ведет правильную и регулярную жизнь, дорогая сестрица, того никакая отравка не возьмет. Вот хоть бы меня взять в пример. Был я на краю гибели, умирал, мучился, а теперь

ничего. Только во рту пожгло и в глотке саднит, а всё тело здорово, слава богу... А отчего? Потому что регулярная жизнь.

– Нет, это значит – керосин плохой! – вздыхала Дашенька, думая о расходах и глядя в одну точку. – Значит, лавочник мне дал не лучшего, а того, что полторы копейки фунт. Страдалица я, несчастная, изверги-мучители, чтоб вам на том свете так жилось, ироды окаянные...

И пошла, и пошла...

## Верочка

Иван Алексеевич Огнев помнит, как в тот августовский вечер он со звоном отворил стеклянную дверь и вышел на террасу. На нем была тогда легкая крылатка<sup>31</sup> и широкополая соломенная шляпа, та самая, которая вместе с ботфортами валяется теперь в пыли под кроватью. В одной руке он держал большую вязку книг и тетрадей, в другой – толстую, суковатую палку.

За дверью, освещая ему путь лампой, стоял хозяин дома, Кузнецов, лысый старик с длинной седой бородой и в белом, как снег, пикейном пиджаке. Старик благодушно улыбался и кивал головой.

– Прощайте, старче! – крикнул ему Огнев.

Кузнецов поставил лампу на столик и вышел на террасу. Две длинные, узкие тени шагнули через ступени к цветочным клумбам, закачались и уперлись головами в стволы лип.

– Прощайте, и еще раз спасибо, голубчик! – сказал Иван Алексеич. – Спасибо вам за ваше радушие, за ваши ласки, за вашу любовь... Никогда, во веки веков не забуду вашего гостеприимства. И вы хороший, и дочка ваша хорошая, и все у вас тут добрые, веселые, радушные... Такая великолепная публика, что и сказать не умею!

От избытка чувств и под влиянием только что выпитой наливки, Огнев говорил певучим семинарским голосом и был так растроган, что выражал свои чувства не столько словами, сколько морганьем глаз и подергиваньем плеч. Кузнецов, тоже подвыпивший и растроганный, потянулся к молодому человеку и поцеловался с ним.

– Привык я к вам, как легавый! – продолжал Огнев. – Почти каждый день к вам шлялся, раз десять ночевал, а наливки выпил столько, что теперь вспоминать страшно. А главное, за что спасибо, Гавриил Петрович, так это за ваше содействие и помощь. Без вас я со своей статистикой до октября бы тут возился. Так и напишу в предисловии: считаю долгом выразить мою благодарность председателю N-ской уездной земской управы Кузнецову за его любезное содействие. У статистики бле-естьящая будущность!<sup>32</sup> Вере Гавриловне нижайший поклон, а докторам, обоим следователям и вашему секретарю передайте, что никогда не забуду их помощи! А теперь, старче, обьемем друг друга и сотворим последнее лобзание.

Раскисший Огнев еще раз поцеловался со стариком и стал спускаться вниз. На последней ступени он оглянулся и спросил:

– Увидимся еще когда-нибудь?

– Бог знает! – ответил старик. – Вероятно, никогда!

– Да, правда! В Питер вас и калачом не заманишь, а я едва ли еще попаду когда-нибудь в этот уезд. Ну, прощайте!

– Вы бы книги тут оставили! – крикнул ему вслед Кузнецов. – Что вам за охота тащить такую тяжесть? Я вам завтра их с человеком прислал бы.

Но Огнев уже не слушал и быстро удалялся от дома. На душе его, подогретой вином, было и весело, и тепло, и грустно... Он шел и думал о том, как часто приходится в жизни встречаться с хорошими людьми и как жаль, что от этих встреч не остается ничего больше, кроме воспоминаний. Бывает так, что на горизонте мелькнут журавли, слабый ветер донесет их жалобно-восторженный крик, а через минуту, с какою жадностью ни вглядывайся в синюю даль, не увидишь ни точки, не услышишь ни звука – так точно люди с их лицами и речами мелькают в жизни и утопают в нашем прошлом, не оставляя ничего больше, кроме ничтожных

<sup>31</sup> ...крылатка – летняя накидка без рукавов, с разрезами для рук; в середине 80-х годов модная одежда небогатой интеллигенции.

<sup>32</sup> У статистики бле-естьящая будущность! – Земские статистические работы выполнялись по почину и на средства земских учреждений. Расцвет их относится к концу 70-х – началу 80-х годов.

следов памяти. Живя с самой весны в N-ском уезде и бывая почти каждый день у радушных Кузнецовых, Иван Алексеич привык, как к родным, к старику, к его дочери, к прислуге, изучил до тонкостей весь дом, уютную террасу, изгибы аллей, силуэты деревьев над кухней и баней; но выйдет он сейчас за калитку, и всё это обратится в воспоминание и утратит для него навсегда свое реальное значение, а пройдет год-два, и все эти милые образы потускнеют в сознании наравне с вымыслами и плодами фантазии.

«В жизни ничего нет дороже людей! – думал растроганный Огнев, шагая по аллее к калитке. – Ничего!»

В саду было тихо и тепло. Пахло резедой, табаком и гелиотропом, которые еще не успели отцвести на клумбах. Промежутки между кустами и стволами деревьев были полны тумана, негустого, нежного, пропитанного насквозь лунным светом, и, что надолго осталось в памяти Огнева, клочья тумана, похожие на привидения, тихо, но заметно для глаза, ходили друг за дружкой поперек аллей. Луна стояла высоко над садом, а ниже ее куда-то на восток неслись прозрачные туманные пятна. Весь мир, казалось, состоял только из черных силуэтов и бродивших белых теней, а Огнев, наблюдавший туман в лунный августовский вечер чуть ли не первый раз в жизни, думал, что он видит не природу, а декорацию, где неумелые пиротехники, желая осветить сад белым бенгальским огнем, засели под кусты и вместе со светом напустили в воздух и белого дыма.

Когда Огнев подходил к садовой калитке, от невысокого палисадника отделилась темная тень и пошла к нему навстречу.

– Вера Гавриловна! – обрадовался он. – Вы тут? А я искал-искал, хотел проститься... Прощайте, я уйду!

– Так рано? Ведь еще одиннадцать часов.

– Нет, пора! Идти пять верст, да еще укладываться нужно. Завтра рано вставать...

Перед Огневым стояла дочь Кузнецова, Вера, девушка 21 года, по обыкновению грустная, небрежно одетая и интересная. Девушки, которые много мечтают и по целым дням читают лежа и лениво всё, что попадает им под руки, которые скучают и грустят, одеваются вообще небрежно. Тем из них, которых природа одарила вкусом и инстинктом красоты, эта легкая небрежность в одежде придает особую прелесть. По крайней мере, Огнев, вспоминая впоследствии о хорошенькой Верочке, не мог себе представить ее без просторной кофточки, которая мялась у талии в глубокие складки и все-таки не касалась стана, без локона, выбившегося на лоб из высокой прически, без того красного вязаного платка с мохнатыми шариками по краям, который вечерами, как флаг в тихую погоду, уныло виснул на плече Верочки, а днем валялся скомканный в передней около мужских шапок или же в столовой на сундуке, где бесцеремонно спала на нем старая кошка. От этого платка и от складок кофточки так и веяло свободною ленью, домоседством, благодушием. Быть может, оттого, что Вера нравилась Огневу, он в каждой пуговке и оборочке умел читать что-то теплое, уютное, наивное, что-то такое хорошее и поэтичное, чего именно не хватает у женщин неискренних, лишенных чувства красоты и холодных.

Верочка была хорошо сложена, имела правильный профиль и красивые вьющиеся волосы. Огневу, который на своем веку мало видел женщин, она казалась красавицей.

– Уезжаю! – говорил он, прощаясь с нею около калитки. – Не поминайте лихом! Спасибо за всё!

Тем же певучим семинарским голосом, каким он беседовал со стариком, так же моргая и подергивая плечами, стал он благодарить Веру за гостеприимство, ласки и радушие.

– О вас писал я матери в каждом письме, – говорил он. – Если бы все такие были, как вы да ваш батька, то не житье было бы на свете, а масленая. У вас вся публика великолепная! Народ всё простой, сердечный, искренний.

– Вы теперь куда едете? – спросила Вера.

– Теперь еду к матери в Орел, побуду у нее недельки две, а там – в Питер на работу.

– А потом?

– Потом? Всю зиму проработаю, а весной опять куда-нибудь в уезд материалы собирать.

Ну, будьте счастливы, живите сто лет... не поминайте лихом. Больше не увидимся.

Огнев нагнулся и поцеловал Верочкину руку. Затем в молчаливом волнении он поправил на себе крылатку, взял поудобнее вязку книг, помолчал и сказал:

– Туману-то сколько навалило!

– Да. Вы у нас ничего не забыли?

– Что же? Кажется, ничего...

Несколько секунд Огнев постоял молча, потом неуклюже повернулся к калитке и вышел из сада.

– Постойте, я вас до нашего леса провожу, – сказала Вера, выходя за ним.

Они пошли по дороге. Теперь уж деревья не заслоняли простора и можно было видеть небо и даль. Точно прикрытая вуалью, вся природа пряталась за прозрачную матовую дымку, сквозь которую весело смотрела ее красота; туман, что погуще и побелее, неравномерно ложился около копен и кустов или ключьями бродил через дорогу, жался к земле и как будто старался не заслонять собой простора. Сквозь дымку видна была вся дорога до леса с темными канавами по бокам и с мелкими кустами, которые росли в канавах и мешали бродить туманным ключьям. В полуверсте от калитки темнела полоса кузнецовского леса.

«Зачем она со мной пошла? Ведь ее придется провожать назад!» – подумал Огнев, но, поглядев на профиль Веры, он ласково улыбнулся и сказал:

– Не хочется уезжать в такую хорошую погоду! Вечер настоящий романический, с луной, с тишиной и со всеми онерами. Знаете что, Вера Гавриловна? Живу я на свете 29 лет, но у меня в жизни ни разу романа не было. Во всю жизнь ни одной романической истории, так что с randevу<sup>33</sup>, с аллеями вздохов и поцелуями я знаком только понаслышке. Ненормально! В городе, когда сидишь у себя в номере, не замечаешь этого пробела, но тут, на свежем воздухе, он сильно чувствуется... Как-то обидно делается!

– Отчего же вы так?

– Не знаю. Вероятно, всю жизнь некогда было, а может быть, просто встречаться не приходилось с такими женщинами, которые... Вообще у меня мало знакомых, и я нигде не бываю.

Шагов триста молодые люди прошли молча. Огнев поглядывал на открытую голову и платок Верочки, и в душе его один за другим воскресали весенние и летние дни; то было время, когда вдали от своего серого петербургского номера, наслаждаясь ласками хороших людей, природой и любимым трудом, не успевал он замечать, как утренние зори сменялись вечерними и как один за другим, пророча конец лета, переставали петь сначала соловей, потом перепел, а немного позже коростель... Время летело незаметно, значит, жилось хорошо и легко... Стал он припоминать вслух о том, с какою неохотой он, небогатый, непривычный к движениям и людям, в конце апреля ехал сюда в N-ский уезд, где ожидал встретить скуку, одиночество и равнодушие к статистике<sup>34</sup>, которая, по его мнению, среди наук занимает теперь самое видное место. Приехав апрельским утром в уездный городишко N., он остановился на постоялом дворе старовера Рябухина, где за двугривенный в сутки ему дали светлую и чистую комнату с условием, что курить он будет на улице. Отдохнув и справившись, кто в уезде состоит председателем земской управы, он немедленно пошел пешком к Гавриилу Петровичу. Пришлось идти четыре версты роскошными лугами и молодыми рощами. Под облаками, заливая воздух

<sup>33</sup> свиданием (*франц.* rendez-vous).

<sup>34</sup> ...ожидал встретить скуку, одиночество и равнодушие к статистике... – В «Петербургской газете», 1887, № 9, 10 января, в заметке «Невзгоды статистики», говорилось, что статистику упразднили в Саратове, Рязани, Екатеринославе и Курске, считая, что все бедствия – неурожай, градобитие и т. п. – происходят из-за научной статистики.

серебряными звуками, дрожали жаворонки, а над зеленеющими пашнями, солидно и чинно взмахивая крыльями, носились грачи.

– Господи, – удивлялся тогда Огнев, – неужели тут всегда дышат таким воздухом, или это так пахнет только сегодня, ради моего приезда?

Ожидая сухого делового приема, к Кузнецовым вошел он несмело, глядя исподлобья и застенчиво теребя свою бородку. Старик сначала морщил лоб и не понимал, зачем это молодому человеку и его статистике могла понадобиться земская управа, но когда тот пространно объяснил ему, что такое статистический материал и где он собирается, Гавриил Петрович оживился, заулыбался и с ребяческим любопытством стал заглядывать в его тетрадки... Вечером того же дня Иван Алексеич уже сидел у Кузнецовых за ужином, быстро хмелел от крепкой наливки и, глядя на покойные лица и ленивые движения своих новых знакомых, чувствовал во всем своем теле сладкую, дремотную лень, когда хочется спать, потягиваться, улыбаться. А новые знакомые благодушно оглядывали его и спрашивали, живы ли у него отец и мать, сколько он зарабатывает в месяц, часто ли бывает в театрах...

Припомнил Огнев свои разъезды по волостям, пикники, рыбные ловли, поездку всем обществом в девичий монастырь к игуменье Марфе, которая каждому из гостей подарила по бисерному кошельку, припомнил горячие, нескончаемые, чисто русские споры, когда спорщики, брызжа и стуча кулаками по столу, не понимают и перебивают друг друга, сами того не замечая, противоречат себе в каждой фразе, то и дело меняют тему и, поспорив часа два-три, смеются:

– Чёрт знает, из-за чего мы спор подняли! Начали о здравии, а кончили за упокой!

– А помните, как я, вы и доктор ездили верхом в Шестово? – говорил Иван Алексеич Вере, подходя с нею к лесу. – Тогда еще нам юродивый встретился. Я дал ему пятак, а он три раза перекрестился и бросил мой пятак в рожь. Господи, столько я увожу с собой впечатлений, что если бы можно было собрать их в компактную массу, то получился бы хороший слиток золота! Не понимаю, зачем это умные и чувствующие люди теснятся в столицах и не идут сюда? Разве на Невском и в больших сырых домах больше простора и правды, чем здесь? Право, мне мои меблированные комнаты, сверху донизу начиненные художниками, учеными и журналистами, всегда казались предрассудком.

В двадцати шагах от леса через дорогу лежал небольшой узкий мостик со столбиками по углам, который всегда во время вечерних прогулок служил Кузнецовым и их гостям маленькой станцией. Отсюда желающие могли дразнить лесное эхо и видно было, как дорога исчезала в черной просеке.

– Ну, вот и мостик! – сказал Огнев. – Тут вам поворачивать назад...

Вера остановилась и перевела дух.

– Давайте посидим, – сказала она, садясь на один из столбиков. – Перед отъездом, когда прощаются, обыкновенно все садятся.

Огнев примостился возле нее на своей вязке книг и продолжал говорить. Она тяжело дышала от ходьбы и глядела не на Ивана Алексеича, а куда-то в сторону, так что ему не видно было ее лица.

– И вдруг лет через десять мы встретимся, – говорил он. – Какие мы тогда будем? Вы будете уже почтенною матерью семейства, а я автором какого-нибудь почтенного, никому не нужного статистического сборника, толстого, как сорок тысяч сборников.<sup>35</sup> Встретимся и вспомним старину... Теперь мы чувствуем настоящее, оно нас наполняет и волнует, а тогда, при

---

<sup>35</sup> ...кому не нужного статистического сборника, толстого, как сорок тысяч сборников. – В том же номере «Нового времени», где помещена «Верочка», в отделе «Библиографические новости», есть сообщение: «Недавно вышел из печати VII выпуск „Материалов для статистики Костромской губернии“ <...>. Это хорошо напечатанный том, заключающий в себе более 250 страниц текста с 22 приложенными к нему таблицами и 4 диаграммами».

встрече, мы уж не будем помнить ни числа, ни месяца, ни даже года, когда виделись в последний раз на этом мостике. Вы, пожалуй, изменитесь... Послушайте, вы изменитесь?

Вера вздрогнула и повернулась к нему лицом.

– Что? – спросила она.

– Я вас спрашивал сейчас...

– Простите, я не слышала, что вы говорили.

Тут только Огнев заметил в Вере перемену. Она была бледна, задыхалась, и дрожь ее дыхания сообщалась и рукам, и губам, и голове, и из прически выбивался на лоб не один локон, как всегда, а два... Видимо, она избегала глядеть прямо в глаза и, стараясь замаскировать волнение, то поправляла воротничок, который как будто резал ей шею, то перетаскивала свой красный платок с одного плеча на другое...

– Вам, кажется, холодно, – сказал Огнев. – Сидеть в тумане не совсем-то здорово. Давайте-ка я провожу вас нах гауз<sup>36</sup>.

Вера молчала.

– Что с вами? – улыбнулся Иван Алексеич. – Вы молчите и не отвечаете на вопросы. Нездоровы вы или сердитесь? А?

Вера крепко прижала ладонь к щеке, обращенной в сторону Огнева, и тотчас же резко отдернула ее.

– Ужасное положение... – прошептала она с выражением сильной боли на лице. – Ужасное!

– Чем же оно ужасное? – спросил Огнев, пожимая плечами и не скрывая своего удивления. – В чем дело?

Всё еще тяжело дыша и вздрагивая плечами, Вера повернулась к нему спиной, полминуты глядела на небо и сказала:

– Мне нужно поговорить с вами, Иван Алексеич...

– Я слушаю.

– Вам, может быть, покажется странным... вы удивитесь, но мне всё равно...

Огнев еще раз пожал плечами и приготовился слушать.

– Вот что... – начала Верочка, наклоняя голову и теребя пальцами шарик платка. – Видите ли, я вам вот что... хотела сказать... Вам покажется странным и... глупым, а я... я больше не могу.

Речь Веры перешла в неясное бормотанье и вдруг оборвалась плачем. Девушка закрыла лицо платком, еще ниже нагнулась и горько заплакала. Иван Алексеич смущенно крикнул и, изумляясь, не зная, что говорить и делать, безнадежно поглядел вокруг себя. От непривычки к плачу и слезам у него у самого зачесались глаза.

– Ну, вот еще! – забормотал он растерянно. – Вера Гавриловна, ну к чему это, спрашивается? Голубушка, вы... вы больны? Или вас кто обидел? Вы скажите, быть может, я того... сумею помочь...

Когда он, пытаясь утешить ее, позволил себе осторожно отнять от ее лица руки, она улыбнулась ему сквозь слезы и проговорила:

– Я... я люблю вас!

Эти слова, простые и обыкновенные, были сказаны простым человеческим языком, но Огнев в сильном смущении отвернулся от Веры, поднялся и вслед за смущением почувствовал испуг.

Грусть, теплота и сентиментальное настроение, навеянные на него прощанием и наливкой, вдруг исчезли, уступив место резкому, неприятному чувству неловкости. Точно перевернулась в нем душа, он косился на Веру, и теперь она, после того как, объяснившись ему в

<sup>36</sup> домой (нем. nach Hause).

любви, сбросила с себя неприступность, которая так красит женщину, казалась ему как будто ниже ростом, проще, темнее.

«Что же это такое? – ужаснулся он про себя. – Но ведь я же ее... люблю или нет? Вот задача-то!»

А она, когда самое главное и тяжелое наконец было сказано, дышала уже легко и свободно. Она тоже поднялась и, глядя прямо в лицо Ивана Алексеича, стала говорить быстро, неудержимо, горячо.

Как человек, внезапно испуганный, не может потом вспомнить порядка, с каким чередовались звуки ошеломившей его катастрофы, так и Огнев не помнит слов и фраз Веры. Ему памятливы только содержание ее речи, она сама и то ощущение, которое производила в нем ее речь. Он помнит как будто придушенный, несколько сиплый от волнения голос и необыкновенную музыку и страстность в интонации. Плача, смеясь, сверкая слезинками на ресницах, она говорила ему, что с первых же дней знакомства он поразил ее своею оригинальностью, умом, добрыми, умными глазами, своими задачами и целями жизни, что она полюбила его страстно, безумно и глубоко; что когда, бывало, летом она входила из сада в дом и видела в передней его крылатку или слышала издали его голос, то сердце ее обливалось холодком, предчувствием счастья; его даже пустые шутки заставляли ее хохотать, в каждой цифре его тетрадок она видела что-то необыкновенно разумное и грандиозное, его суковатая палка представлялась ей прекрасней деревьев.

И лес, и туманные клочья, и черные канавы по бокам дороги, казалось, притихли, слушая ее, а в душе Огнева происходило что-то нехорошее и странное... Объясняясь в любви, Вера была пленительно хороша, говорила красиво и страстно, но он испытывал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел, а только чувство сострадания к Вере, боль и сожаление, что из-за него страдает хороший человек. Бог его знает, заговорил ли в нем книжный разум, или сказались неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает людям жить, но только восторги и страдание Веры казались ему приторными, несерьезными, и в то же время чувство возмущалось в нем и шептало, что всё, что он видит и слышит теперь, с точки зрения природы и личного счастья, серьезнее всяких статистик, книг, истин... И он злился и винил себя, хотя и не понимал, в чем именно заключается вина его.

В довершение неловкости он решительно не знал, что ему говорить, а говорить было необходимо. Сказать прямо «я вас не люблю» ему было не под силу, а сказать «да» он не мог, потому что, как ни рылся, не находил в своей душе даже искорки...

Он молчал, а она между тем говорила, что для нее нет выше счастья, как видеть его, идти за ним, хоть сейчас, куда он хочет, быть его женой и помощницей, что если он уйдет от нее, то она умрет с тоски...

– Я не могу здесь оставаться! – сказала она, ломая руки. – Мне опостытели и дом, и этот лес, и воздух. Я не выношу постоянного покоя и бесцельной жизни, не выношу наших бесцветных и бледных людей, которые все похожи один на другого, как капли воды! Все они сердечны и добродушны, потому что сыты, не страдают, не борются... А я хочу именно в большие, сырые дома, где страдают, ожесточены трудом и нуждой...

И это казалось Огневу приторным и несерьезным. Когда Вера кончила, он всё еще не знал, что говорить, но молчать нельзя было, и он забормотал:

– Я, Вера Гавриловна, очень благодарен вам, хотя чувствую, что ничем не заслужил такого... с вашей стороны... чувства. Во-вторых, как честный человек, я должен сказать, что... счастье основано на равновесии, то есть когда обе стороны... одинаково любят...

Но тотчас же Огнев устыдился своего бормотания и замолчал. Он чувствовал, что в это время лицо у него было глупо, виновато, плоско, что оно было напряжено и натянуто... Вера, должно быть, сумела прочесть на его лице правду, потому что стала вдруг серьезной, побледнела и поникла головой.

– Вы извините меня, – пробормотал Огнев, не вынося молчания. – Я вас настолько уважаю, что... мне больно!

Вера резко повернулась и быстро пошла назад к усадьбе. Огнев последовал за ней.

– Нет, не надо! – сказала Вера, махнув ему кистью руки. – Не идите, я сама дойду...

– Нет, все-таки... нельзя не проводить...

Что ни говорил Огнев, всё до последнего слова казалось ему отвратительным и плоским. Чувство вины росло в нем с каждым шагом. Он злился, сжимал кулаки и проклинал свою холодность и неумение держать себя с женщинами. Стараясь возбудить себя, он глядел на красивый стан Верочки, на ее косу и следы, которые оставляли на пыльной дороге ее маленькие ножки, припоминал ее слова и слезы, но всё это только умиляло, но не раздражало его души.

«Ах, да нельзя же насильно полюбить! – убеждал он себя и в то же время думал: – Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже под 30! Лучше Веры я никогда не встречал женщин и никогда не встречу... О, собачья старость! Старость в 30 лет!»

Вера шла впереди него всё быстрее и быстрее, не оглядываясь и поникнув головой. Ему казалось, что с горя она осунулась, сузилась в плечах...

«Воображаю, что творится теперь у нее на душе! – думал он, глядя ей в спину. – Небось, и стыдно, и больно до того, что умирать хочется! Господи, столько во всем этом жизни, поэзии, смысла, что камень бы тронулся, а я... я глуп и нелеп!»

У калитки Вера мельком взглянула на него и, согнувшись, кутаясь в платок, быстро пошла по аллее.

Иван Алексеич остался один. Возвращаясь назад к лесу, он шел медленно, то и дело останавливался и оглядывался на калитку с таким выражением во всей своей фигуре, как будто не верил себе. Он искал глазами по дороге следов Верочкиных ног и не верил, что девушка, которая так нравилась ему, только что объяснилась ему в любви и что он так неуклюже и топорно «отказал» ей! Первый раз в жизни ему приходилось убедиться на опыте, как мало зависит человек от своей доброй воли, и испытать на себе самом положение порядочного и сердечного человека, против воли причиняющего своему ближнему жестокие, незаслуженные страдания.

У него болела совесть, а когда скрылась Вера, ему стало казаться, что он потерял что-то очень дорогое, близкое, чего уже не найти ему. Он чувствовал, что с Верой ускользнула от него часть его молодости и что минуты, которые он так бесплодно пережил, уже более не повторятся.

Дойдя до мостика, он остановился и задумался. Ему хотелось найти причину своей странной холодности. Что она лежала не вне, а в нем самом, для него было ясно. Искренно сознался он перед собой, что это не рассудочная холодность, которою так часто хвастают умные люди, не холодность себялюбивого глупца, а просто бессилие души, неспособность воспринимать глубоко красоту, ранняя старость, приобретенная путем воспитания, беспорядочной борьбы из-за куска хлеба, номерной бессемейной жизни.

С мостика он медленно, словно нехотя, пошел в лес. Здесь, где на черных, густых потемках там и сям обозначались резкими пятнами проблески лунного света, где он ничего не ощущал, кроме своих мыслей, ему страстно захотелось вернуть потерянное.

И помнит Иван Алексеич, что он опять вернулся. Подзадоривая себя воспоминаниями, рисуя насильно в своем воображении Веру, он быстро шагал к саду. По дороге и в саду тумана уже не было, и ясная луна глядела с неба, как умытая, только лишь восток туманился и хмурился... Помнит Огнев свои осторожные шаги, темные окна, густой запах гелиотропа и резеды. Знакомый Каро, дружелюбно помахивая хвостом, подошел к нему и понюхал его руку... Это было единственное живое существо, видевшее, как он два раза прошелся вокруг дома, постоял у темного окна Веры и, махнув рукой, с глубоким вздохом пошел из сада.

Через час уже он был в городке и, утомленный, разбитый, прислонившись туловищем и горячим лицом к воротам постоялого двора, стучал скобкой. Где-то в городке спросонок лаяла собака, и точно в ответ на его стук около церкви зазвонили в чугунную доску...

– Шляешься по ночам... – ворчал хозяин-старовер в длинной, словно женской сорочке, отворяя ему ворота. – Чем шляться-то, лучше бы богу молился.

Войдя к себе в комнату, Иван Алексеич опустился на постель и долго-долго глядел на огонь, потом встряхнул головой и стал укладываться...

## Накануне поста

– Павел Васильич! – будит Пелагея Ивановна своего мужа. – А Павел Васильич! Ты бы пошел позанимался со Степой, а то он сидит над книгой и плачет. Опять чего-то не понимает!

Павел Васильич поднимается, крестит зевающий рот и говорит мягко:

– Сейчас, душенька!

Кошка, спящая рядом с ним, тоже поднимается, вытягивает хвост, перегибает спину и жмурится. Тишина... Слышно, как за обоями бегают мыши. Надев сапоги и халат, Павел Васильич, помятый и хмурый спросонок, идет из спальни в столовую; при его появлении другая кошка, которая обнюхивала на окне рыбное заливное, прыгает с окна на пол и прячется за шкаф.

– Просили тебя нюхать! – сердится он, накрывая рыбу газетной бумагой. – Свинья ты после этого, а не кошка...

Из столовой дверь ведет в детскую. Тут за столом, покрытым пятнами и глубокими царапинами, сидит Степа, гимназист второго класса, с капризным выражением лица и с заплаканными глазами. Приподняв колени почти до подбородка и охватив их руками, он качается, как китайский болванчик, и сердито глядит в задачник.

– Учишься? – спрашивает Павел Васильич, подсаживаясь к столу и зевая. – Так, братец ты мой... Погуляли, поспали, блинов покушали, а завтра сухоядение, покаяние и на работу пожалуйста. Всякий период времени имеет свой предел. Что это у тебя глаза заплаканные? Зубреница одолела? Знать, после блинов противно науками питаться? То-то вот оно и есть.

– Да ты что там над ребенком смеешься? – кричит из другой комнаты Пелагея Ивановна. – Чем смеяться, показал бы лучше! Ведь он завтра опять единицу получит, горе мое!

– Ты чего не понимаешь? – спрашивает Павел Васильич у Степы.

– Да вот... деление дробей! – сердито отвечает тот. – Деление дроби на дробь...

– Гм... чудак! Что же тут? Тут и понимать нечего. Отзубри правило, вот и всё... Чтобы разделить дробь на дробь, то для этой цели нужно числителя первой дроби помножить на знаменателя второй, и это будет числителем частного... Ну-с, засим знаменатель первой дроби...

– Я это и без вас знаю! – перебивает его Степа, сбивая щелчком со стола ореховую скорлупу. – Вы покажите мне доказательство!

– Доказательство? Хорошо, давай карандаш. Слушай. Положим, нам нужно семь восьмых разделить на две пятых. Так-с. Механика тут в том, братец ты мой, что требуется эти дроби разделить друг на дружку... Самовар поставили?

– Не знаю.

– Пора уж чай пить... Восьмой час. Ну-с, теперь слушай. Будем так рассуждать. Положим, нам нужно разделить семь восьмых не на две пятых, а на два, то есть только на числителя. Делим. Что же получается?

– Семь шестнадцатых.

– Так. Молодец. Ну-с, штукенция в том, братец ты мой, что мы... что, стало быть, если мы делили на два, то... Постой, я сам запутался. Помню, у нас в гимназии учителем арифметики был Сигизмунд Урбаныч, из поляков. Так тот, бывало, каждый урок путался. Начнет теорему доказывать, спутается и побагровеет весь и по классу забегает, точно его шилом кто-нибудь в спину, потом раз пять высморкается и начнет плакать. Но мы, знаешь, великодушны были, делали вид, что не замечаем. «Что с вами, спрашиваем, Сигизмунд Урбаныч? У вас зубы болят?» И скажи, пожалуйста, весь класс из разбойников состоял, из сорвиголов, но, понимаешь ты, великодушны были! Таких маленьких, как ты, в мое время не было, а всё верзила, этакие балбесы, один другого выше. К примеру сказать, у нас в третьем классе был Мамахин: господи, что за дубина! Понимаешь ты, дылда в сажень ростом, идет – пол дрожит, хватит

кулачищем по спине – дух вон! Не то, что мы, даже учителя его боялись. Так вот этот самый Мамахин, бывало...

За дверью слышатся шаги Пелагеи Ивановны. Павел Васильич мигает на дверь и шепчет:

– Мать идет. Давай заниматься. Ну, так вот, братец ты мой, – возвышает он голос, – эту дробь надо помножить на эту. Ну-с, а для этого нужно числителя первой дроби пом...

– Идите чай пить! – кричит Пелагея Ивановна.

Павел Васильич и его сын бросают арифметику и идут пить чай. А в столовой уже сидит Пелагея Ивановна и с ней тетенька, которая всегда молчит, и другая тетенька, глухонемая, и бабушка Марковна – повитуха, принимавшая Степу. Самовар шипит и пускает пар, от которого на потолке ложатся большие волнистые тени. Из передней, задрав вверх хвосты, входят кошки, заспанные, меланхолические...

– Пей, Марковна, с вареньем, – обращается Пелагея Ивановна к повитухе, – завтра пост великий, наедайся сегодня!

Марковна набирает полную ложечку варенья, нерешительно, словно порох, подносит ко рту и, покосившись на Павла Васильича, ест; тотчас же ее лицо покрывается сладкой улыбкой, такой же сладкой, как само варенье.

– Варенье очень даже отличное, – говорит она. – Вы, матушка, Пелагея Ивановна, сами изволили варить?

– Сама. Кому же другому? Я всё сама. Степочка, я тебе не жидко чай налила? Ах, ты уже выпил! Давай, ангелочек мой, я тебе еще налью.

– Так вот этот самый Мамахин, братец ты мой, – продолжает Павел Васильич, поворачиваясь к Степе, – терпеть не мог учителя французского языка. «Я, кричит, дворянин и не позволю, чтоб француз надо мною старшим был! Мы, кричит, в двенадцатом году французов били!» Ну, его, конечно, пороли... си-ильно пороли! А он, бывало, как заметит, что его пороть хотят, прыг в окно и был таков! Этак дней пять-шесть потом в гимназию не показывается. Мать приходит к директору, молит Христом-богом: «Господин директор, будьте столь добры, найдите моего Мишку, посеките его, подлеца!» А директор ей: «Помилуйте, сударыня, у нас с ним пять швейцаров не справятся!»

– Господи, уродятся же такие разбойники! – шепчет Пелагея Ивановна, с ужасом глядя на мужа. – Каково-то бедной матери!

Наступает молчание. Степа громко зевает и рассматривает на чайнице китайца, которого он видел уж тысячу раз. Обе тетеньки и Марковна осторожно хлебают из блюдец. В воздухе тишина и духота от печки... На лицах и в движениях лень, пресыщение, когда желудки до верха полны, а есть все-таки нужно. Убираются самовар, чашки и скатерть, а семья всё сидит за столом... Пелагея Ивановна то и дело вскакивает и с выражением ужаса на лице убегает в кухню, чтобы поговорить там с кухаркой насчет ужина. Обе тетеньки сидят в прежних позах, неподвижно, сложив ручки на груди, и дремлют, поглядывая своими оловянными глазками на лампу. Марковна каждую минуту икает и спрашивает:

– Отчего это я икаю? Кажется, и не кушала ничего такого... и словно бы не пила... Ик!

Павел Васильич и Степа сидят рядом, касаясь друг друга головами, и, нагнувшись к столу, рассматривают «Ниву» 1878 года.

– «Памятник Леонардо да-Винчи перед галлереей Виктора Эмануила в Милане». <sup>37</sup> Ишь ты... Вроде как бы триумфальные ворота... Кавалер с дамой... А там вдали человечки...

– Этот человечек похож на нашего гимназиста Нискубина, – говорит Степа.

<sup>37</sup> ...«Ниву» 1878 года. – «Памятник Леонардо да-Винчи перед галлереей Виктора Эмануила в Милане»... и стр. 487 (варианты). «С фотографии гравировал Герасимов». – Подпись под рисунком. Изображение памятника помещено в «Ниве», 1878, № 35, 28 августа, стр. 629. Виктор Эмануил (1820–1878) – первый король объединенной Италии.

– Перелистывай дальше... «Хоботок обыкновенной мухи, видимый в микроскоп».<sup>38</sup> Вот так хоботок! Ай да муха! Что же, брат, будет, ежели клопа под микроскопом поглядеть? Вот гадость!

Старинные часы в зале сипло, точно простуженные, не бьют, а кашляют ровно десять раз. В столовую входит кухарка Анна и – бух хозяину в ноги!

– Простите Христа ради, Павел Васильич! – говорит она, поднимаясь вся красная.

– Прости и ты меня Христа ради, – отвечает Павел Васильич равнодушно.

Анна тем же порядком подходит к остальным членам семьи, бухает в ноги и просит прощения. Минует она одну только Марковну, которую, как неблагородную, считает недостойной поклонения.

Проходит еще полчаса в тишине и спокойствии... «Нива» лежит уже на диване, и Павел Васильич, подняв вверх палец, читает наизусть латинские стихи, которые он выучил когда-то в детстве. Степа глядит на его палец с обручальным кольцом, слушает непонятную речь и дремлет; трет кулаками глаза, а они у него еще больше слипаются.

– Пойду спать... – говорит он, потягиваясь и зевая.

– Что? Спать? – спрашивает Пелагея Ивановна. – А заговляться?

– Я не хочу.

– Да ты в своем уме? – пугается мамаша. – Как же можно не заговляться? Ведь во весь пост не дадут тебе скоромного!

Павел Васильич тоже пугается.

– Да, да, брат, – говорит он. – Семь недель мать не даст скоромного. Нельзя, надо заговеться.

– Ах, да мне спать хочется! – капризничает Степа.

– В таком случае накрывайте скорей на стол! – кричит встревоженно Павел Васильич. – Анна, что ты там, дура, сидишь? Иди поскорей, накрывай на стол!

Пелагея Ивановна всплескивает руками и бежит в кухню с таким выражением, как будто в доме пожар.

– Скорей! Скорей! – слышится по всему дому. – Степochка спать хочет! Анна! Ах боже мой, что же это такое? Скорей!

Через пять минут стол уже накрыт. Кошки опять, задрав вверх хвосты, выгибая спины и потягиваясь, сходятся в столовую... Семья начинает ужинать. Есть никому не хочется, у всех желудки переполнены, но есть все-таки нужно.

---

<sup>38</sup> «Хоботок обыкновенной мухи, видимый в микроскоп». – Подпись под рисунком в том же номере «Нивы» (стр. 632).

## Беззащитное существо

Как ни силен был ночью припадок подагры, как ни скрипели потом нервы, а Кистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал приемку просителей и клиентов банка. Вид у него был томный, замученный, и говорил он еле-еле, чуть дыша, как умирающий.

– Что вам угодно? – обратился он к просительнице в допотопном салопе<sup>39</sup>, очень похожей сзади на большого навозного жука.

– Изволите ли видеть, ваше превосходительство, – начала скороговоркой просительница, – муж мой, коллежский асессор Щукин, проболел пять месяцев, и, пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство, а когда я пошла за его жалованьем, они, изволите видеть, вычли из его жалованья 24 рубля 36 коп.! За что? – спрашиваю. – «А он, говорят, из товарищеской кассы брал и за него другие чиновники ручались». Как же так? Нешто он мог без моего согласия брать? Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами... Я слабая, беззащитная... От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу...

Просительница заморгала глазами и полезла в салоп за платком. Кистунов взял от нее прошение и стал читать.

– Позвольте, как же это? – пожал он плечами. – Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж.

– И-и, батюшка, я в пяти местах уже была, и везде даже прошения не взяли! – сказала Щукина. – Я уж и голову потеряла, да спасибо, дай бог здоровья зятю Борису Матвейчу, надумил к вам сходить. «Вы, говорит, мамаша, обратитесь к господину Кистунову: он влиятельный человек, для вас всё может сделать»... Помогите, ваше превосходительство!

– Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать... Поймите вы: ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое, у нас банк. Как не понять этого!

Кистунов еще раз пожал плечами и повернулся к господину в военной форме, с флюсом.

– Ваше превосходительство, – пропела жалобным голосом Щукина, – а что муж болен был, у меня докторское свидетельство есть! Вот оно, извольте поглядеть!

– Прекрасно, я верю вам, – сказал раздраженно Кистунов, – но, повторяю, это к нам не относится. Странно и даже смешно! Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться?

– Он, ваше превосходительство, у меня ничего не знает. Зарядил одно: «Не твое дело! Пошла вон!» да и всё тут... А чье же дело? Ведь на моей-то шее они сидят! На мое-ей!

Кистунов опять повернулся к Щукиной и стал объяснять ей разницу между ведомством военно-медицинским и частным банком. Та внимательно выслушала его, кивнула в знак согласия головой и сказала:

– Так, так, так... Понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть 15 рублей! Я согласна не всё сразу.

– Уф! – вздохнул Кистунов, откидывая назад голову. – Вам не втолкуешь! Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палатку<sup>40</sup>. Вам недоплатили, но мы-то тут при чем?

<sup>39</sup> ...салопе ~ навозного жука. – Салоп – верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки с пелериной и прорезами для рук.

<sup>40</sup> ...в пробирную палатку. – Учреждение, в котором производилось клеймение золотых и серебряных изделий и определялось количество золота или серебра, входящего в состав сплава.

– Ваше превосходительство, заставьте вечно бога молить, пожалейте меня, сироту, – заплакала Щукина. – Я женщина беззащитная, слабая... Замучилась до смерти... И с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею и зять без места... Только одна слава, что пью и ем, а сама еле на ногах стою... Всю ночь не спала.

Кистунов почувствовал сердцебиение. Сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять Щукиной, но голос его оборвался...

– Нет, извините, я не могу с вами говорить, – сказал он и махнул рукой. – У меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаете и время понапрасну теряете. Уф!.. Алексей Николаич, – обратился он к одному из служащих, – объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной!

Кистунов, обойдя всех просителей, отправился к себе в кабинет и подписал с десяток бумаг, а Алексей Николаич всё еще возился со Щукиной. Сидя у себя в кабинете, Кистунов долго слышал два голоса: монотонный, сдержанный бас Алексея Николаича и плачущий, взвизгивающий голос Щукиной...

– Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болезненная, – говорила Щукина. – На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою и аппетита решилась... Кофий сегодня пила, и без всякого удовольствия.

А Алексей Николаич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг. Скоро он утомился, и его сменил бухгалтер.

– Удивительно противная баба! – возмущался Кистунов, нервно ломая пальцы и то и дело подходя к графину с водой. – Это идиотка, пробка! Меня замучила и их заездит, подлая! Уф... сердце бьется!

Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаич.

– Что у вас там? – томно спросил Кистунов.

– Да никак не втолкуем, Петр Александрыч! Просто замучились. Мы ей про Фому, а она про Ерему...

– Я... я не могу ее голоса слышать... Заболел я... не выношу...

– Позвать швейцара, Петр Александрыч, пусть ее выведет.

– Нет, нет! – испугался Кистунов. – Она визг поднимет, а в этом доме много квартир, и про нас чёрт знает что могут подумать... Уж вы, голубчик, как-нибудь постарайтесь объяснить ей.

Через минуту опять послышалось гуденье Алексея Николаича. Прошло четверть часа, и на смену его басу зажужжал сильный тенорок бухгалтера.

– За-ме-чательно подлая! – возмущался Кистунов, нервно вздрагивая плечами. – Глупа, как сивый мерин, чёрт бы ее взял. Кажется, у меня опять подагра разыгрывается... Опять мигрень...

В соседней комнате Алексей Николаич, выбившись из сил, наконец, постучал пальцем по столу, потом себе по лбу.

– Одним словом, у вас на плечах не голова, – сказал он, – а вот что...

– Ну, нечего, нечего... – обиделась старуха. – Своей жене постучи... Скважина! Не очень-то рукам волю давай.

И, глядя на нее со злобой, с остервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаич сказал тихим, придушенным голосом:

– Вон отсюда!

– Что-о? – взвизгнула вдруг Щукина. – Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю! Мой муж коллежский асессор! Скважина этакая! Схожу к адвокату Дмитрию Карлычу, так от тебя звания не останется! Твоих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах навалеешься! Я до вашего генерала пойду! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!

– Пошла вон отсюда, язва! – прошипел Алексей Николаич.

Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствие.

– Что такое? – спросил он плачущим голосом.

Щукина, красная как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам и, тоже красные, видимо замученные, растерянно переглядывались.

– Ваше превосходительство! – бросилась к Кистунову Щукина. – Вот этот, вот самый... вот этот... (она указала на Алексея Николаича) постучал себе пальцем по лбу, а потом по столу... Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмехается! Я женщина слабая, беззащитная... Мой муж коллежский асессор, и сама я майорская дочь!

– Хорошо, сударыня, – простонал Кистунов, – я разберу... приму меры... Уходите... после!..

– А когда же я получу, ваше превосходительство? Мне нынче деньги надобны!

Кистунов дрожащей рукой провел себе по лбу, вздохнул и опять начал объяснять:

– Сударыня, я уже вам говорил. Здесь банк, учреждение частное, коммерческое... Что же вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете.

Щукина выслушала его и вздохнула.

– Так, так... – согласилась она. – Только уж вы, ваше превосходительство, сделайте милость, заставьте вечно бога молить, будьте отцом родным, защитите. Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу и из участка удостоверение представить... Прикажите выдать мне деньги!

У Кистунова зарябило в глазах. Он выдохнул весь воздух, сколько его было в легких, и в изнеможении опустился на стул.

– Сколько вы хотите получить? – спросил он слабым голосом.

– 24 рубля 36 копеек.

Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной.

– Берите и... и уходите!

Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо в сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила:

– Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место?

– Я уеду... болен... – сказал Кистунов томным голосом. – У меня страшное сердцебиение.

По отъезде его Алексей Николаич послал Никиту за лавровишневыми каплями, и все, приняв по 20 капель, уселись за работу, а Щукина потом часа два еще сидела в передней и разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернется Кистунов.

Приходила она и на другой день.

## Недоброе дело

– Кто идет?

Ответа нет. Сторож не видит ничего, но сквозь шум ветра и деревьев ясно слышит, что кто-то идет впереди него по аллее. Мартовская ночь, облачная и туманная, окутала землю, и сторожу кажется, что земля, небо и он сам со своими мыслями слились во что-то одно громадное, непроницаемо-черное. Идти можно только ощупью.

– Кто идет? – повторяет сторож, и ему начинает казаться, что он слышит и шёпот и сдержанный смех. – Кто тут?

– Я, батюшка... – отвечает старческий голос.

– Да кто ты?

– Я... прохожий.

– Какой такой прохожий? – сердито кричит сторож, желая замаскировать криком свой страх. – Носит тебя здесь нелегкая! Таскаешься, леший, ночью по кладбищу!

– Нешто тут кладбище?

– А то что же? Стало быть, кладбище! Не видишь?

– О-хо-хо-хх... Царица небесная! – слышится старческий вздох. – Ничего не вижу, батюшка, ничего... Ишь, темень-то какая, темень. Зги не видать, темень-то, батюшка! Ох-хо-хо-ххх...

– Да ты кто такой?

– Я – странник, батюшка, странный человек.

– Черти этакие, полуночники... Странники тоже! Пьяницы... – бормочет сторож, успокоенный тоном и вздохами прохожего. – Согрешишь с вами! День-деньской пьют, а ночью носит их нелегкая. А словно как будто я слышал, что тут ты не один, а словно вас двое-трое.

– Один, батюшка, один. Как есть один... О-хо-хо-х, грехи наши...

Сторож натывается на человека и останавливается.

– Как же ты сюда попал? – спрашивает он.

– Заблудился, человек хороший. Шел на Митриевскую мельницу и заблудился.

– Эва! Нешто тут дорога на Митриевскую мельницу? Голова ты баранья! На Митриевскую мельницу надо идтить много левей, прямо из города по казенной дороге. Ты спяна-то лишних версты три сделал. Надо быть, нализался в городе?

– Был грех, батюшка, был... Истинно, был, не стану греха таить. А как же мне теперь-то идтить?

– А иди всё прямо и прямо по этой аллее, пока в тупик не упруешься, а там сейчас бери влево и иди, покуда всё кладбище пройдешь, до самой калитки. Там калитка будет... Отопри и ступай с богом. Гляди, в ров не упади. А там за кладбищем иди всё полем, полем, полем, пока не выйдешь на казенную дорогу.

– Дай бог здоровья, батюшка. Спаси, царица небесная, и помилуй. А то проводил бы, добрый человек! Будь милостив, проводи до калитки!

– Ну, есть мне время! Иди сам!

– Будь милостив, заставь бога молить. Не вижу ничего, не видать зги, ни синь-пороха, батюшка... Темень-то, темень! Проводи, сударик!

– Да, есть мне время провожаться! Ежели с каждым нянчиться, то этак не провожаешься.

– Христа ради проводи. И не вижу, и боюсь один кладбищем идтить. Жутко, батюшка, жутко, боюсь, жутко, добрый человек.

– Навязался ты на мою голову, – вздыхает сторож. – Ну, ладно, пойдем!

Сторож и прохожий трогаются с места. Они идут рядом, плечо о плечо и молчат. Сырой, пронзительный ветер бьет им прямо в лица, и невидимые деревья, шумя и потрескивая, сыплют на них крупные брызги... Аллея почти сплошную покрыта лужами.

– Одно мне невдомек, – говорит сторож после долгого молчания, – как ты сюда попал? Ведь ворота на замок заперты. Через ограду перелез, что ли? Ежели через ограду, то старому человеку этакое занятие – последнее дело!

– Не знаю, батюшка, не знаю. Как сюда попал, и сам не знаю. Наваждение. Наказал господь. Истинно, наваждение, лукавый попутал. А ты, батюшка, стало быть, тут в сторожах?

– В сторожах.

– Один на всё кладбище?

Напор ветра так силен, что оба на минуту останавливаются. Сторож, выждав, когда ослабеет порыв ветра, отвечает:

– Нас тут трое, да один в горячке лежит, а другой спит. Мы с ним чередуемся.

– Так, так, батюшка, так. Ветер-то, ветер какой! Чай, покойники слышат! Гудёт, словно зверь лютой... О-хо-хо-х...

– А ты сам откуда?

– Издалече, батюшка. Вологодский я, дальний. По святым местам хожу и за добрых людей молюсь. Спаси и помилуй, господи.

Сторож ненадолго останавливается, чтобы закурить трубку. Он приседает за спиной прохожего и сожигает несколько спичек. Свет первой спички, мелькнув, освещает на одно мгновение кусок аллеи справа, белый памятник с ангелом и темный крест; свет второй спички, сильно вспыхнувшей и потухшей от ветра, скользит, как молния, по левой стороне, и из потемок выделяется только угловая часть какой-то решетки; третья спичка освещает и справа и слева белый памятник, темный крест и решетку вокруг детской могилки.

– Спят покойнички, спят родимые! – бормочет прохожий, громко вздыхая. – Спят и богатые, и бедные, и мудрые, и глупые, и добрые, и лютые. Всем им одна цена. И будут спать до гласа трубного. Царство им небесное, вечный покой.

– Теперь вот идем, а будет время, когда и сами лежать будем, – говорит сторож.

– Так, так. Все, все будем. Нет того человека, который не помрет. О-хо-хо-х. Дела наши лютые, помышления лукавые! Грехи, грехи! Душа моя окаянная, ненасытная, утроба чревоугодная! Прогневал господа, и не будет мне спасения ни на этом, ни на том свете. Завяз в грехи, как червяк в землю.

– Да, а умирать надо.

– То-то что надо.

– Страннику, чай, легче помирать, чем нашему брату... – говорит сторож.

– Странники разные бывают. Есть и настоящие, которые богоугодные, блюдут свою душу, а есть и такие, что по кладбищу ночью путаются, чертей тешат... да-а! Иной, который странник, ежели пожелает, хватит тебя по башке топорищем, а из тебя и дух вон.

– Зачем ты такие слова?

– А так... Ну вот, кажись, и калитка. Она и есть. Отвори-ка, любезный!

Сторож ощупью отворяет калитку, выводит странника за рукав и говорит:

– Тут и конец кладбищу. Теперь иди всё полем и полем, пока не упруешься в казенную дорогу. Только сейчас тут межевой ров будет, не упади... А выйдешь на дорогу, возьми вправо и так до самой мельницы...

– О-хо-хо-х-х... – вздыхает странник, помолчав. – А я теперь так рассуждаю, что мне незачем на Митриевскую мельницу идти... За каким лешим я туда пойду? Я лучше, сударик, здесь с тобой постою...

– Зачем тебе со мной стоять?

– А так... с тобой веселей...

– Тоже, нашел себе весельщика! Странник ты, а вижу, любишь шутки шутить...

– Известно, люблю! – говорит прохожий, сипло хихикая. – Ах ты, милый мой, любезный!

Чай, долго теперь будешь вспоминать странника!

– Зачем мне тебя вспоминать?

– Да так, обошел я тебя ловко... Нешто я странник? Я вовсе не странник.

– Кто же ты?

– Покойник... Из гроба только что встал... Помнишь слесаря Губарева, что на масляной завесился? Так вот я самый и есть Губарев...

– Ври больше!

Сторож не верит, но чувствует во всем теле такой тяжелый и холодный страх, что срывается с места и начинает быстро нащупывать калитку.

– Постой, куда ты? – говорит прохожий, хватая его за руку. – Э-э-э... ишь ты какой! На кого же ты меня покидаешь?

– Пусти! – кричит сторож, стараясь вырвать руку.

– Сто-ой! Велю стоять и стой... Не рвись, пес поганый! Хочешь в живых быть, так стой и молчи, покада велю... Не хочется только кровь проливать, а то давно бы ты у меня издох, паршивый... Стой!

У сторожа подгибаются колена. Он в страхе закрывает глаза и, дрожа всем телом, прижимается к ограде. Он хотел бы закричать, но знает, что его крик не долетит до жилья... Возле стоит прохожий и держит его за руку... Минуты три проходит в молчании.

– Один в горячке, другой спит, а третий странников провожает, – бормочет прохожий. – Хорошие сторожа, можно жалованье платить! Не-ет, брат, воры завсегда проворней сторожов были! Стой, стой, не шевелись...

Проходит в молчании пять, десять минут. Вдруг ветер доносит свист.

– Ну, теперь ступай, – говорит прохожий, отпуская руку. – Иди и бога моли, что жив остался.

Прохожий тоже свистит, отбегает от калитки, и слышно, как он прыгает через ров. Предчувствуя что-то очень недоброе и всё еще дрожа от страха, сторож нерешительно отворяет калитку и, закрыв глаза, бежит назад. У поворота на большую аллею он слышит чьи-то торопливые шаги, и кто-то спрашивает его шипящим голосом:

– Это ты, Тимофей? А где Митька?

А пробежав всю большую аллею, он замечает в потемках маленький тусклый огонек. Чем ближе к огоньку, тем страшнее делается и тем сильнее предчувствие чего-то недоброго.

«Огонь, кажись, в церкви, – думает он. – Откуда ему быть там? Спаси и помилуй, владычица! Так оно и есть!»

Минуту сторож стоит перед выбитым окном и с ужасом глядит в алтарь... Маленькая восковая свечка, которую забыли потушить воры, мелькает от врывающегося в окно ветра и бросает тусклые красные пятна на разбросанные ризы, поваленный шкафчик, на многочисленные следы ног около престола и жертвенника...

Проходит еще немного времени, и воющий ветер разносит по кладбищу торопливые, нервные звуки набата...

## Дома

– Приходили от Григорьевых за какой-то книгой, но я сказала, что вас нет дома. Почта-льон принес газеты и два письма. Кстати, Евгений Петрович, я просила бы вас обратить ваше внимание на Сережу. Сегодня и третьего дня я заметила, что он курит. Когда я стала его усовещивать, то он, по обыкновению, заткнул уши и громко запел, чтобы заглушить мой голос.

Евгений Петрович Быковский, прокурор окружного суда, только что вернувшийся из заседания и снимавший у себя в кабинете перчатки, поглядел на докладывавшую ему гувернантку и засмеялся.

– Сережа курит... – пожал он плечами. – Воображаю себе этого карапуза с папирсой! Да ему сколько лет?

– Семь лет. Вам кажется это несерьезным, но в его годы курение составляет вредную и дурную привычку, а дурные привычки следует искоренять в самом начале.

– Совершенно верно. А где он берет табак?

– У вас в столе.

– Да? В таком случае пришлите его ко мне.

По уходе гувернантки Быковский сел в кресло перед письменным столом, закрыл глаза и стал думать. Он рисовал в воображении своего Сережу почему-то с громадной, аршинной папироской, в облаках табачного дыма, и эта карикатура заставляла его улыбаться; в то же время серьезное, озабоченное лицо гувернантки вызвало в нем воспоминания о давно прошедшем, наполовину забытом времени, когда курение в школе и в детской внушало педагогам и родителям странный, не совсем понятный ужас. То был именно ужас. Ребят безжалостно пороли, исключали из гимназии, коверкали им жизни, хотя ни один из педагогов и отцов не знал, в чем именно заключается вред и преступность курения. Даже очень умные люди не затруднялись воевать с пороком, которого не понимали. Евгений Петрович вспомнил своего директора гимназии, очень образованного и добродушного старика, который так пугался, когда заставал гимназиста с папироской, что бледнел, немедленно собирал экстренный педагогический совет и приговаривал виновного к исключению. Уж таков, вероятно, закон общежития: чем непонятнее зло, тем ожесточеннее и грубее борются с ним.

Вспомнил прокурор двух-трех исключенных, их последующую жизнь и не мог не подумать о том, что наказание очень часто приносит гораздо больше зла, чем само преступление. Живой организм обладает способностью быстро приспособляться, привыкать и приноживаться к какой угодно атмосфере, иначе человек должен был бы каждую минуту чувствовать, какую неразумную подкладку нередко имеет его разумная деятельность и как еще мало осмысленной правды и уверенности даже в таких ответственных, страшных по результатам действиях, как педагогическая, юридическая, литературная...

И подобные мысли, легкие и расплывчатые, какие приходят только в утомленный, отдыхающий мозг, стали бродить в голове Евгения Петровича; являются они неизвестно откуда и зачем, недолго остаются в голове и, кажется, ползают по поверхности мозга, не заходя далеко вглубь. Для людей, обязанных по целым часам и даже дням думать казенно, в одном направлении, такие вольные, домашние мысли составляют своего рода комфорт, приятное удобство.

Был девятый час вечера. Наверху, за потолком, во втором этаже кто-то ходил из угла в угол, а еще выше, на третьем этаже, четыре руки играли гаммы. Шаганье человека, который, судя по нервной походке, о чем-то мучительно думал или же страдал зубною болью, и монотонные гаммы придавали тишине вечера что-то дремотное, располагающее к ленивым думам. Через две комнаты в детской разговаривали гувернантка и Сережа.

– Па-па приехал! – запел мальчик. – Папа при-е-хал! Па! па! па!

– Votre père vous appelle, allez vite!<sup>41</sup> – крикнула гувернантка, пискнув, как испуганная птица. – Вам говорят!

«Что же я ему, однако, скажу?» – подумал Евгений Петрович.

Но прежде чем он успел надумать что-либо, в кабинет уже входил его сын Сережа, мальчик семи лет. Это был человек, в котором только по одежде и можно было угадать его пол: тщедушный, белолицый, хрупкий... Он был вял телом, как парниковый овощ, и всё у него казалось необыкновенно нежным и мягким: движения, кудрявые волосы, взгляд, бархатная куртка.

– Здравствуй, папа! – сказал он мягким голосом, полезая к отцу на колени и быстро целуя его в шею. – Ты меня звал?

– Позвольте, позвольте, Сергей Евгеньич, – ответил прокурор, отстраняя его от себя. – Прежде чем целоваться, нам нужно поговорить, и поговорить серьезно... Я на тебя сердит и больше тебя не люблю. Так и знай, братец: я тебя не люблю, и ты мне не сын... Да.

Сережа пристально поглядел на отца, потом перевел взгляд на стол и пожал плечами.

– Что же я тебе сделал? – спросил он в недоумении, моргая глазами. – Я сегодня у тебя в кабинете ни разу не был и ничего не трогал.

– Сейчас Наталья Семеновна жаловалась мне, что ты куришь... Это правда? Ты куришь?

– Да, я раз курил... Это верно!..

– Вот видишь, ты еще и лжешь вдобавок, – сказал прокурор, хмурясь и тем маскируя свою улыбку. – Наталья Семеновна два раза видела, как ты курил. Значит, ты уличен в трех нехороших поступках: куришь, берешь из стола чужой табак и лжешь. Три вины!

– Ах, да-а! – вспомнил Сережа, и глаза его улыбнулись. – Это верно, верно! Я два раза курил: сегодня и прежде.

– Вот видишь, значит не раз, а два раза... Я очень, очень тобой недоволен! Прежде ты был хорошим мальчиком, но теперь, я вижу, испортился и стал плохим.

Евгений Петрович поправил на Сереже воротничок и подумал:

«Что же еще сказать ему?»

– Да, нехорошо, – продолжал он. – Я от тебя не ожидал этого. Во-первых, ты не имеешь права брать табак, который тебе не принадлежит. Каждый человек имеет право пользоваться только своим собственным добром, ежели же он берет чужое, то... он нехороший человек! («Не то я ему говорю!» – подумал Евгений Петрович.) Например, у Натальи Семеновны есть сундук с платьями. Это ее сундук, и мы, то есть ни я, ни ты, не смеем трогать его, так как он не наш. Ведь правда? У тебя есть лошадки и картинки... Ведь я их не беру? Может быть, я и хотел бы их взять, но... ведь они не мои, а твои!

– Возьми, если хочешь! – сказал Сережа, подняв брови. – Ты, пожалуйста, папа, не стесняйся, бери! Эта желтенькая собачка, что у тебя на столе, моя, но ведь я ничего... Пусть себе стоит!

– Ты меня не понимаешь, – сказал Быковский. – Собачку ты мне подарил, она теперь моя, и я могу делать с ней всё, что хочу; но ведь табаку я не дарил тебе! Табак мой! («Не так я ему объясняю! – подумал прокурор. – Не то! Совсем не то!») Если мне хочется курить чужой табак, то я, прежде всего, должен попросить позволения...

Лениво цепляя фразу к фразе и поддельваясь под детский язык, Быковский стал объяснять сыну, что значит собственность. Сережа глядел ему в грудь и внимательно слушал (он любил по вечерам беседовать с отцом), потом облокотился о край стола и начал шурить свои близорукие глаза на бумаги и чернильницу. Взгляд его поблуждал по столу и остановился на флаконе с гуммиарабиком.

– Папа, из чего делается клей? – вдруг спросил он, поднося флакон к глазам.

Быковский взял из его рук флакон, поставил на место и продолжал:

<sup>41</sup> Ваш отец вас зовет, идите скорее! (франц.)

– Во-вторых, ты куришь... Это очень нехорошо! Если я курю, то из этого еще не следует, что курить можно. Я курю и знаю, что это неумно, браню и не люблю себя за это... («Хитрый я педагог!») – подумал прокурор.) Табак сильно вредит здоровью, и тот, кто курит, умирает раньше, чем следует. Особенно же вредно курить таким маленьким, как ты. У тебя грудь слабая, ты еще не окреп, а у слабых людей табачный дым производит чахотку и другие болезни. Вот дядя Игнатий умер от чахотки. Если бы он не курил, то, быть может, жил бы до сегодня.

Сережа задумчиво поглядел на лампу, потрогал пальцем абажур и вздохнул.

– Дядя Игнатий хорошо играл на скрипке! – сказал он. – Его скрипка теперь у Григорьевых!

Сережа опять облокотился о край стола и задумался. На бледном лице его застыло такое выражение, как будто он прислушивался или же следил за развитием собственных мыслей; печаль и что-то похожее на испуг показались в его больших, немигающих глазах. Вероятно, он думал теперь о смерти, которая так недавно взяла к себе его мать и дядю Игнатия. Смерть уносит на тот свет матерей и дядей, а их дети и скрипки остаются на земле. Покойники живут на небе где-то около звезд и глядят оттуда на землю. Выносят ли они разлуку?

«Что я ему скажу? – думал Евгений Петрович. – Он меня не слушает. Очевидно, он не считает важными ни своих проступков, ни моих доводов. Как втолковать ему?»

Прокурор поднялся и заходил по кабинету.

«Прежде, в мое время, эти вопросы решались замечательно просто, – размышлял он. – Всякого мальчугу, уличенного в курении, секли. Малодушные и трусы, действительно, бросали курить, кто же похрабрее и умнее, тот после порки начинал табак носить в голенище, а курить в сарае. Когда его ловили в сарае и опять пороли, он уходил курить на реку... и так далее, до тех пор, пока малый не выросстал. Моя мать, чтобы я не курил, задаривала меня деньгами и конфетами. Теперь же эти средства представляются ничтожными и безнравственными. Становясь на почву логики, современный педагог старается, чтобы ребенок воспринимал добрые начала не из страха, не из желания отличиться или получить награду, а сознательно».

Пока он ходил и думал, Сережа взобрался с ногами на стул сбоку стола и начал рисовать. Чтобы он не пачкал деловых бумаг и не трогал чернил, на столе лежала пачка четвертух, нарезанных нарочно для него, и синий карандаш.

– Сегодня кухарка шинковала капусту и обрезала себе палец, – сказал он, рисуя домик и двигая бровями. – Она так крикнула, что мы все перепугались и побежали в кухню. Такая глупая! Наталья Семеновна велит ей мочить палец в холодную воду, а она его сосет... И как она может грязный палец брать в рот! Папа, ведь это неприлично!

Дальше он рассказал, что во время обеда во двор заходил шарманщик с девочкой, которая пела и плясала под музыку.

«У него свое течение мыслей! – думал прокурор. – У него в голове свой мирок, и он по-своему знает, что важно и не важно. Чтобы овладеть его вниманием и сознанием, недостаточно подтасовываться под его язык, но нужно также уметь и мыслить на его манер. Он отлично бы понял меня, если бы мне в самом деле было жаль табаку, если бы я обиделся, заплакал... Потому-то матери незаменимы при воспитании, что они умеют заодно с ребятами чувствовать, плакать, хохотать... Логикой же и моралью ничего не поделаешь. Ну, что я ему еще скажу? Что?»

И Евгению Петровичу казалось странным и смешным, что он, опытный правовед, полжизни упражнявшийся во всякого рода пресечениях, предупреждениях и наказаниях, решительно терялся и не знал, что сказать мальчику.

– Послушай, дай мне честное слово, что ты больше не будешь курить, – сказал он.

– Че-естное слово! – запел Сережа, сильно надавливая карандаш и нагибаясь к рисунку. – Че-естное сло-во! Во! во!

«А знает ли он, что значит честное слово? – спросил себя Быковский. – Нет, плохой я наставник! Если бы кто-нибудь из педагогов или из наших судейских заглянул сейчас ко мне в голову, то назвал бы меня тряпкой и, пожалуй, заподозрил бы в излишнем мудровании... Но ведь в школе и в суде все эти канальские вопросы решаются гораздо проще, чем дома; тут имеешь дело с людьми, которых без ума любишь, а любовь требовательна и осложняет вопрос. Если бы этот мальчишка был не сыном, а моим учеником или подсудимым, я не трусил бы так и мои мысли не разбегались бы!...»

Евгений Петрович сел за стол и потянул к себе один из рисунков Сережи. На этом рисунке был изображен дом с кривой крышей и с дымом, который, как молния, зигзагами шел из труб до самого края четвертухи; возле дома стоял солдат с точками вместо глаз и со штыком, похожим на цифру 4.

– Человек не может быть выше дома, – сказал прокурор. – Погляди: у тебя крыша приходится по плечо солдату.

Сережа полез на его колени и долго двигался, чтобы усесться поудобней.

– Нет, папа! – сказал он, посмотрев на свой рисунок. – Если ты нарисуешь солдата маленьким, то у него не будет видно глаз.

Нужно ли было оспаривать его? Из ежедневных наблюдений над сыном прокурор убедился, что у детей, как у дикарей, свои художественные воззрения и требования своеобразные, недоступные пониманию взрослых. При внимательном наблюдении, взрослому Сережа мог показаться ненормальным. Он находил возможным и разумным рисовать людей выше домов, передавать карандашом, кроме предметов, и свои ощущения. Так, звуки оркестра он изображал в виде сферических, дымчатых пятен, свист – в виде спиральной нити... В его понятии звук тесно соприкасался с формой и цветом, так что, раскрашивая буквы, он всякий раз неизменно звук Л красил в желтый цвет, М – в красный, А – в черный и т. д.

Бросив рисунок, Сережа еще раз подвигался, принял удобную позу и занялся отцовской бородой. Сначала он старательно разгладил ее, потом раздвоил и стал зачесывать ее в виде бакенов.

– Теперь ты похож на Ивана Степановича, – бормотал он, – а вот сейчас будешь похож... на нашего швейцара. Папа, зачем это швейцары стоят около дверей? Чтоб воров не пускать?

Прокурор чувствовал на лице его дыхание, то и дело касался щекой его волос, и на душе у него становилось тепло и мягко, так мягко, как будто не одни руки, а вся душа его лежала на бархате Сережиной куртки. Он заглядывал в большие, темные глаза мальчика, и ему казалось, что из широких зрачков глядели на него и мать, и жена, и всё, что он любил когда-либо.

«Вот тут и пори его... – думал он. – Вот тут и изволь измышлять наказания! Нет, куда уж нам в воспитатели лезть. Прежде люди просты были, меньше думали, потому и вопросы решали храбро. А мы думаем слишком много, логика нас заела... Чем развитее человек, чем больше он размышляет и вдаётся в тонкости, тем он нерешительнее, мнительнее и тем с большею робостью приступает к делу. В самом деле, если поглубже вдуматься, сколько надо иметь храбрости и веры в себя, чтобы браться учить, судить, сочинять толстую книгу...»

Пробило десять часов.

– Ну, мальчик, спать пора, – сказал прокурор. – Прощайся и иди.

– Нет, папа, – поморщился Сережа, – я еще посижу. Расскажи мне что-нибудь! Расскажи сказку.

– Изволь, только после сказки – сейчас же спать.

В свободные вечера Евгений Петрович имел обыкновение рассказывать Сереже сказки. Как и большинство деловых людей, он не знал наизусть ни одного стихотворения и не помнил ни одной сказки, так что всякий раз ему приходилось импровизировать. Обыкновенно он начинал с шаблона «В некотором царстве, в некотором государстве», далее громоздил всякий невинный вздор и, рассказывая начало, совсем не знал, каковы будут середина и конец.

Картины, лица и положения брались наудачу, экспромтом, а фабула и мораль вытекали как-то сами собой, помимо воли рассказчика. Сережа очень любил такие импровизации, и прокурор замечал, что чем скромнее и незатейливее выходила фабула, тем сильнее она действовала на мальчика.

– Слушай, – начал он, поднимая глаза к потолку. – В некотором царстве, в некотором государстве жил-был себе старый, престарелый царь с длинной седой бородой и... и с этими усищами. Ну-с, жил он в стеклянном дворце, который сверкал и сиял на солнце, как большой кусок чистого льда. Дворец же, братец ты мой, стоял в громадном саду, где, знаешь, росли апельсины... бергамоты, черешни... цвели тюльпаны, розы, ландыши, пели разноцветные птицы... Да... На деревьях висели стеклянные колокольчики, которые, когда дул ветер, звучали так нежно, что можно было заслушаться. Стекло дает более мягкий и нежный звук, чем металл... Ну-с, что же еще? В саду били фонтаны... Помнишь, ты видел на даче у тети Сони фонтан? Вот точно такие же фонтаны стояли в царском саду, но только в гораздо больших размерах, и струя воды достигала верхушки самого высокого тополя.

Евгений Петрович подумал и продолжал:

– У старого царя был единственный сын и наследник царства – мальчик, такой же маленький, как ты. Это был хороший мальчик. Он никогда не капризничал, рано ложился спать, ничего не трогал на столе и... и вообще был умница. Один только был у него недостаток – он курил...

Сережа напряженно слушал и, не мигая, глядел отцу в глаза. Прокурор продолжал и думал: «Что же дальше?» Он долго, как говорится, размазывал да жевал и кончил так:

– От курения царевич заболел чахоткой и умер, когда ему было 20 лет. Дряхлый и болезненный старик остался без всякой помощи. Некому было управлять государством и защищать дворец. Пришли неприятели, убили старика, разрушили дворец, и уж в саду теперь нет ни черешен, ни птиц, ни колокольчиков... Так-то, братец...

Такой конец самому Евгению Петровичу казался смешным и наивным, но на Сережу вся сказка произвела сильное впечатление. Опять его глаза подернулись печалью и чем-то похожим на испуг; минуту он глядел задумчиво на темное окно, вздрогнул и сказал упавшим голосом:

– Не буду я больше курить...

Когда он простился и ушел спать, его отец тихо ходил из угла в угол и улыбался.

«Скажут, что тут подействовала красота, художественная форма, – размышлял он, – пусть так, но это не утешительно. Все-таки это не настоящее средство... Почему мораль и истина должны подноситься не в сыром виде, а с примесями, непременно в обсахаренном и позолоченном виде, как пилюли? Это ненормально... Фальсификация, обман... фокусы...»

Вспомнил он присяжных заседателей, которым непременно нужно говорить «речь», публику, усваивающую историю только по былинам и историческим романам, себя самого, почерпавшего житейский смысл не из проповедей и законов, а из басен, романов, стихов...

«Лекарство должно быть сладкое, истина красивая... И эту блажь напустил на себя человек со времен Адама... Впрочем... быть может, всё это естественно и так и быть должно... Мало ли в природе целесообразных обманов, иллюзий...»

Он принялся работать, а ленивые, домашние мысли долго еще бродили в его голове. За потолком не слышались уже гаммы, но обитатель второго этажа всё еще шагал из угла в угол...

## Выигрышный билет

Иван Дмитрич, человек средний, проживающий с семьей тысячу двести рублей в год и очень довольный своей судьбой, как-то после ужина сел на диван и стал читать газету.

– Забыла я сегодня в газету поглядеть, – сказала его жена, убирая со стола. – Посмотри, нет ли там таблицы тиражей?

– Да, есть, – ответил Иван Дмитрич. – А разве твой билет не пропал в залоге?

– Нет, я во вторник носила проценты.

– Какой номер?

– Серия 9 499, билет 26.

– Так-с... Посмотрим-с... 9 499 и 26.

Иван Дмитрич не верил в лотерейное счастье и в другое время ни за что не стал бы глядеть в таблицу тиражей, но теперь от нечего делать и – благо, газета была перед глазами – он провел пальцем сверху вниз по номерам серий. И тотчас же, точно в насмешку над его неверием, не дальше как во второй строке сверху резко бросилась в глаза цифра 9 499! Не поглядев, какой номер билета, не проверяя себя, он быстро опустил газету на колени и, как будто кто плеснул ему на живот холодной водой, почувствовал под ложечкой приятный холодок: и щеотно, и страшно, и сладко!

– Маша, 9 499 есть! – сказал он глухо.

Жена поглядела на его удивленное, испуганное лицо и поняла, что он не шутит.

– 9 499? – спросила она, бледнея и опуская на стол сложенную скатерть.

– Да, да... Серьезно есть!

– А номер билета?

– Ах, да! Еще номер билета. Впрочем, постой... погоди. Нет, каково? Все-таки номер нашей серии есть! Все-таки, понимаешь...

Иван Дмитрич, глядя на жену, улыбался широко и бессмысленно, как ребенок, которому показывают блестящую вещь. Жена тоже улыбалась: ей, как и ему, приятно было, что он назвал только серию и не спешит узнать номер счастливого билета. Томить и дразнить себя надеждой на возможное счастье – это так сладко, жутко!

– Наша серия есть, – сказал Иван Дмитрич после долгого молчания. – Значит, есть вероятность, что мы выиграли. Только вероятность, но всё же она есть!

– Ну, теперь взгляни.

– Постой. Еще успеем разочароваться. Это во второй строке сверху, значит, выигрыш в 75 000. Это не деньги, а сила, капитал! И вдруг я погляжу сейчас в таблицу, а там – 26! А? Послушай, а что если мы в самом деле выиграли?

Супруги стали смеяться и долго глядели друг на друга молча. Возможность счастья отуманила их, они не могли даже мечтать, сказать, на что им обоим нужны эти 75 000, что они купят, куда поедут. Думали они только о цифрах 9 499 и 75 000, рисовали их в своем воображении, а о самом счастье, которое было так возможно, им как-то не думалось.

Иван Дмитрич, держа в руках газету, несколько раз прошелся из угла в угол и, только когда успокоился от первого впечатления, стал понемногу мечтать.

– А что, если мы выиграли? – сказал он. – Ведь это новая жизнь, это катастрофа! Билет твой, но если бы он был моим, то я прежде всего, конечно, купил бы тысячу за 25 какую-нибудь недвижимость вроде имения; тысячу 10 на единовременные расходы: новая обстановка... путешествие, долги заплатить и прочее... Остальные 40 тысяч в банк под проценты...

– Да, имение – это хорошо, – сказала жена, садясь и опуская на колени руки.

– Где-нибудь в Тульской или Орловской губернии... Во-первых, дачи не нужно, во-вторых, все-таки доход.

И в его воображении затолпились картины, одна другой ласковой, поэтичней, и во всех этих картинах он видел себя самого сытым, спокойным, здоровым, ему тепло, даже жарко! Вот он, поевши холодной, как лед, крошки, лежит вверх животом на горячем песке у самой речки или в саду под липой... Жарко... Сынишка и дочь ползают возле, роются в песке или ловят в траве козявок. Он сладко дремлет, ни о чем не думает и всем телом чувствует, что ему не идти на службу ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А надоело лежать, он идет на сенокос или в лес за грибами или же глядит, как мужики ловят неводом рыбу. Когда садится солнце, он берет простыню, мыло и плетется в купальню, где не спеша раздевается, долго разглаживает ладонями свою голую грудь и лезет в воду. А в воде, около матовых мыльных кругов суетятся рыбешки, качаются зеленые водоросли. После купанья чай со сливками и со сдобными кренделями... Вечером прогулка или винт с соседями.

– Да, хорошо бы купить имение, – говорит жена, тоже мечтая, и по лицу ее видно, что она очарована своими мыслями.

Иван Дмитрич рисует себе осень с дождями, с холодными вечерами и с бабьим летом. В это время нужно нарочно подольше гулять по саду, огороду, по берегу реки, чтобы хорошенько озябнуть, а потом выпить большую рюмку водки и закусить соленым рыжиком или укропным огурчиком и – выпить другую. Детишки бегут с огорода и тащат морковь и редьку, от которой пахнет свежей землей... А после развалиться на диване и не спеша рассматривать какой-нибудь иллюстрированный журнал, а потом прикрыть журналом лицо, расстегнуть жилетку, отдаться дремоте...

За бабьим летом следует хмурое, ненастное время. Днем и ночью идет дождь, голые деревья плачут, ветер сыр и холоден. Собаки, лошади, куры – всё мокро, уныло, робко. Гулять негде, из дому выходить нельзя, целый день приходится шагать из угла в угол и тоскливо поглядывать на пасмурные окна. Скучно!

Иван Дмитрич остановился и посмотрел на жену.

– Я, знаешь, Маша, за границу поехал бы, – сказал он.

И он стал думать о том, что хорошо бы поехать глубокой осенью за границу, куда-нибудь в южную Францию, Италию... Индию!

– Я тоже непременно бы за границу поехала, – сказала жена. – Ну, посмотри номер билета!

– Постой! Погоди...

Он ходил по комнате и продолжал думать. Ему пришло на мысль: а что если в самом деле жена поедет за границу? Путешествовать приятно одному или же в обществе женщин легких, беззаботных, живущих минутой, а не таких, которые всю дорогу думают и говорят только о детях, вздыхают, пугаются и дрожат над каждой копеечкой. Иван Дмитрич представил себе свою жену в вагоне со множеством узелков, корзинок, свертков; она о чем-то вздыхает и жалуется, что у нее от дороги разболелась голова, что у нее ушло много денег; то и дело приходится бегать на станцию за кипятком, бутербродами, водой... Обедать она не может, потому что это дорого...

«А ведь она бы меня в каждой копейке усчитывала, – подумал он, взглянув на жену. – Билет-то ее, а не мой! Да и зачем ей за границу ехать? Чего она там не видала? Будет в номере сидеть да меня не отпускать от себя... Знаю!»

И он первый раз в жизни обратил внимание на то, что его жена постарела, подурнела, вся насквозь пропахла кухней, а сам он еще молод, здоров, свеж, хоть женись во второй раз.

«Конечно, всё это пустяки и глупости, – думал он, – но... зачем бы она поехала за границу? Что она там понимает? А ведь поехала бы... Воображаю... А на самом деле для нее что Неаполь, что Клин – всё едино. Только бы мне помешала. Я бы у нее в зависимости был. Воображаю, как бы только получила деньги, то сейчас бы их по-бабы под шесть замков... От меня будет прятать... Родне своей будет благотворить, а меня в каждой копейке усчитает».

Вспомнил Иван Дмитрич родню. Все эти братцы, сестрицы, тетеньки, дяденьки, узнав про выигрыш, приползут, начнут нищенски кланчить, маслено улыбаться, лицемерить. Противные, жалкие люди! Если им дать, то они еще попросят; а отказать – будут клясть, сплетничать, желать всяких напастей.

Иван Дмитрич припоминал своих родственников, и их лица, на которые он прежде глядел безразлично, казались ему теперь противными, ненавистными.

«Это такие гадины!» – думал он.

И лицо жены стало казаться тоже противным, ненавистным. В душе его закипала против нее злорадство, и он со злорадством думал:

«Ничего не смыслит в деньгах, а потому скупа. Если бы выиграла, дала бы мне только сто рублей, а остальные – под замок».

И он уже не с улыбкою, а с ненавистью глядел на жену. Она тоже взглянула на него, и тоже с ненавистью и со злобой. У нее были свои радужные мечты, свои планы, свои соображения; она отлично понимала, о чем мечтает ее муж. Она знала, кто первый протянул бы лапу к ее выигрышу.

«На чужой-то счет хорошо мечтать! – говорил ее взгляд. – Нет, ты не смеешь!»

Муж понял ее взгляд; ненависть заворочалась у него в груди, и, чтобы досадить своей жене, он назло ей быстро заглянул на четвертую страницу газеты и провозгласил с торжеством:

– Серия 9 499, билет 46! Но не 26!

Надежда и ненависть обе разом исчезли, и тотчас же Ивану Дмитричу и его жене стало казаться, что их комнаты темны, малы и низки, что ужин, который они съели, не насыщает, а только давит под желудком, что вечера длинны и скучны...

– Чёрт знает что, – сказал Иван Дмитрич, начиная капризничать. – Куда ни ступишь, везде бумажки под ногами, крошки, какая-то скорлупа. Никогда не подметают в комнатах! Придется из дому уходить, чёрт меня подери совсем. Уйду и повешусь на первой попавшейся осине.

## Рано!

В селе Шальнове звонят к заутрене. Солнце на горизонте уже целуется с землей, побагровело и скоро спрячется. В кабаке Семена, переименованном недавно в трактир – титул, совсем не идущий избенке с оципанной крышей и с парой тусклых окошек, – сидят двое охотников-мужиков. Одного из них зовут Филимоном Слюнкой. Это старик лет 60, бывший дворовый графов Завалиных, по профессии слесарь, служивший когда-то на гвоздильной фабрике, прогнанный за пьянство и лень и ныне живущий на иждивении своей жены-старухи, просящей милостыню. Он тощ, хил, с облезлой бороденкой, говорит с присвистом и после каждого слова моргает правой стороной лица и судорожно подергивает правым плечом. Другой, Игнат Рябов, здоровенный, плечистый мужик, никогда ничего не делающий и вечно молчащий, сидит в углу под большой вязкой баранок. Дверь, открытая вовнутрь, бросает на него густую тень, так что Слюнке и кабатчику Семену видны только его латаные колени, длинный мясистый нос и большой чуб, выбившийся на волю из густой, нечесаной путаницы, покрывающей его голову. Семен, маленький, болезненный человечек с длинной жилистой шеей и с бледным лицом, стоит за прилавком, печально глядит на вязку баранок и смиренно покашливает.

– Ты таперича рассуди в своей голове, ежели в тебе есть ум, – говорит ему Слюнка, моргая щекой. – Вещь лежит у тебя без всякого действия, и нет тебе никакой пользы, а нам она надобна. Охотник без ружья всё равно, что пономарь без голоса. Это понимать надо в уме, а ты вот, вижу, не понимаешь, стало быть, в тебе настоящего ума-то и нету... Отдай!

– Ведь ты же заложил у меня ружье! – говорит тоненьким, бабьим голоском Семен, глубоко вздыхая и не отрывая глаз от вязки баранок. – Отдай рубль, что взял, тогда и бери ружье.

– Нету у меня рубля. Я тебе, Семен Митрич, как перед богом: дай ты мне ружье, похожу нынче с Игнашкой и опять тебе его принесу. Накажи меня бог, принесу. Ежели не принесу, чтоб мне ни на том, ни на этом свете счастья не было.

– Семен Митрич, дай! – говорит басом Игнат Рябов, и в голосе его слышится страстное желание получить просимое.

– Да зачем вам ружье? – вздыхает Семен, печально покачивая головой. – Какая теперь охота? На дворе еще зима и акроме ворон да галок никакой твари.

– Какая ж зима? Нешто это зима? – говорит Слюнка, выковыривая пальцем из трубки пепел. – Оно, конечно, рано еще, да ведь вальшнепа не угадаешь. Вальшнеп такая птица, что его сторожить нужно. Не ровен час, просидишь дома поджидаючи, ан перелет-то и прозевал, жди до осени... Такое дело! Вальшнеп не грач... В прошлом годе на Страстной уж он летел, а в третьем годе до Фоминой<sup>42</sup> ждать пришлось. Нет, уж ты сделай милость, Семен Митрич, дай нам ружье! Заставь вечно бога молить. Словно на грех, и Игнашка свое ружье пропил. Эх, когда пьешь, не чувствуешь, а таперя... Эх, глядеть бы на нее, на водку проклятую, не хотел! Истинно, кровь сатанинская! Дай, Семен Митрич!

– Не дам! – говорит Семен, складывая на груди свои желтые ручки, как перед молитвой. – Надо по совести, Филимонушка... Из заклада вещь зря не берется, надо деньги платить... Да и то рассуди, к чему птицу бить? Зачем? Таперя пост, не станешь есть.

Слюнка конфузливо переглядывается с Рябовым, вздыхает и говорит:

– Нам бы только на тяге постоять.

– А зачем? Всё глупости... Не такой ты комплекции, чтоб глупостями заниматься... Игнашка, так и быть уж, человек непонимающий, его бог обидел, а ты, слава тебе господи, старик, умирать пора. Вот ко всенощной бы шел.

<sup>42</sup> ...на Страстной ~ до Фоминой ~ после Святой... – Недели – перед пасхой, следующая за пасхой и пасхальная.

Напоминание о старости, видимо, коробит Слюнку. Он крикает, морщит лоб и молчит целую минуту.

– Послушай ты меня, Семен Митрич! – говорит он горячо, поднимаясь и уже моргая не одной правой щекой, а всем лицом. – Истинно, как, перед богом... разрази меня создатель, после Святой получу от Степана Кузьмича за оси и отдам тебе не руб, а два! Накажи меня бог! Перед образом тебе говорю, только дай ты мне ружье!

– Да-ай! – говорит воющим басом Рябов; слышно, как теснится его дыхание, и чувствуется, что он хотел бы сказать многое, но не находит слов. – Да-ай!

– Нет, братцы, и не просите, – вздыхает Семен, печально покачивая головой. – Не вводите в грех. Не дам я вам ружья. Нет такой моды, чтобы вещь из залога вынимать и денег не платить. Да и к чему баловство? Идите себе с богом!

Слюнка утирает рукавом вспотевшее лицо и начинает горячо клясться и просить. Он крестится, протягивает к образу руки, призывает в свидетели своих покойных отца и мать, но Семен по-прежнему глядит смиренно на вязку баранок и вздыхает. В конце концов Игнашка Рябов, дотоле не двигавшийся, порывисто поднимается и бухает перед кабатчиком земной поклон, но и это не действует!

– Подавись же ты моим ружьем, сатана! – говорит Слюнка, моргая лицом и дергая плечами. – Подавись, холера, разбойничья душа!

Бранясь и потрясая кулаками, он выходит с Рябовым из кабака и останавливается среди дороги.

– Не дал, проклятый! – говорит он плачущим голосом, обиженно глядя в лицо Рябова.

– Не дал! – басит Рябов.

Окошки крайних изб, скворечня на кабаке, верхушки тополей и церковный крест горят ярким золотым пламенем. Видна уже только половина солнца, которое, уходя на ночлег, мигает, переливает багрянцем и, кажется, радостно смеется. Слюнке и Рябову видно, как направо от солнца, в двух верстах от села темнеет лес, как по ясному небу бегут куда-то мелкие облачки, и они чувствуют, что вечер будет ясным, тихим.

– Самая пора таперя, – говорит Слюнка, моргнув лицом. – Хорошо бы постоять часок-другой. Не дал, проклятый, чтоб ему...

– Ежели для тяги, то самое таперя и время... – выговаривает, заикаясь, как бы через силу, Рябов.

Постояв немного, они, ни слова не говоря друг другу, выходят из села и глядят на темную полосу леса. Всё небо над лесом усеяно движущимися черными точками – это грачи летят на ночлег... Снег, кое-где белеющий на темно-бурой пашне, слегка золотится от солнца.

– В прошлом годе в эту пору я в Живках стоял, – говорит после долгого молчания Слюнка. – Трех вальшнепов принес.

Опять наступает молчание. Оба долго стоят и глядят на лес, потом лениво трогаются с места и идут от села по грязной дороге.

– Надо думать, вальшнепа еще не прилетали, – говорит Слюнка. – А может, уж и есть.

– Костька сказывал, что еще нету.

– Может, и нету... Кто их знает! Год в год не приходится. Одначе грязь!

– А постоять надо бы.

– Стало быть, надо! Отчего не постоять? Постоять можно. Оно бы не мешало пойти в лес поглядеть. Ежели есть, Костьке скажем, а то и сами, может, достанем ружье и завтра выйдем. Эка напасть, прости господи, надоумил же меня нечистый ружье в кабаке снести! Этакое горе, что и сказать тебе, Игнаша, не умею!

Беседуя таким образом, охотники подходят к лесу. Солнце уже село и оставило после себя красную, как пожарное зарево, полосу, перерезанную кое-где облаками; цвет этих облаков не поймешь: края их красны, но сами они то серы, то лиловы, то пепельны. В лесу между

густыми ветвями елей и под кустами березняка темно, и в воздухе ясно вырисовываются только крайние, обращенные к солнцу ветки с их пузатыми почками и лоснящейся корой. Пахнет тающим снегом и перегнивающими листьями. Тихо, ничто не шевелится. Издали доносится утихающий крик грачей.

– Теперь бы в Живках постоять, – шепчет Слюнка, с ужасом глядя на Рябова. – Там важная тяга.

Рябов тоже с ужасом глядит на Слюнку, не мигая и раскрыв рот.

– Славное время, – говорит дрожащим шёпотом Слюнка. – Хорошую весну господь посылает... А надо думать, вальшнепа уже есть... Отчего им не быть... День теперь стоит теплый... Поутру журавли летели – видимо-невидимо!

Слюнка и Рябов, осторожно шлепая по талому снегу и увязая в грязи, проходят по краю леса шагов двести и останавливаются. Лица их выражают испуг и ожидание чего-то страшного, необыкновенного. Они стоят как вкопанные, молчат, не шевелятся, и руки их постепенно принимают такое положение, как будто они держат ружья с взведенными курками...

Большая тень ползет слева и заволакивает землю. Наступают вечерние сумерки. Если поглядеть направо, то сквозь кусты и стволы деревьев видны багровые пятна зари. Тихо и сыро...

– Не слышать, – шепчет Слюнка, пожимаясь от холода и всхлипывая своим озябшим носиком.

Но, испугавшись своего шёпота, он грозит кому-то пальцем, делает большие глаза и сжимает губы. Слышится легкий треск. Охотники значительно переглядываются и взглядами сообщают друг другу, что это пустяки, трещит сухая веточка или кора. Вечерняя тень всё растет и растет, багряные пятна мало-помалу тускнеют, и сырость становится неприятною. Долго стоят охотники, но ничего они не слышат и не видят. Каждое мгновение ждут они, что вот-вот пронесется в воздухе тонкий свист, послышится торопливое карканье, похожее на кашель осипшего детского горла, хлопанье крыльев.

– Нет, не слышать! – говорит вслух Слюнка, опуская руки и начиная мигать глазами. – Знать, не прилетали еще.

– Рано!

– То-то, что рано...

Охотники не видят лиц друг друга. Воздух темнеет быстро.

– Деньков пять еще подождать, – говорит Слюнка, выходя с Рябовым из-за куста. – Рано! Оба идут домой и молчат всю дорогу.

## Встреча

*А зачем у него светящиеся глаза, маленькое ухо, короткая и почти круглая голова, как у самых свирепых хищных животных?*

**Максимов.**

Ефрем Денисов тоскливо поглядел кругом на пустынную землю. Его томила жажда, и во всех членах стояла ломота. Конь его, тоже утомленный, распаленный зноем и давно не евший, печально понурил голову. Дорога отлого спускалась вниз по бугру и потом убегала в громадный хвойный лес. Вершины деревьев сливались вдаль с синевой неба, и виден был только ленивый полет птиц да дрожание воздуха, какое бывает в очень жаркие летние дни. Лес громоздился террасами, уходя вдаль всё выше и выше, и казалось, что у этого страшного зеленого чудовища нет конца.

Ехал Ефрем из своего родного села Курской губернии собирать на погоревший храм. В телеге стоял образ Казанской божией матери<sup>43</sup>, пожухлый и полупившийся от дождей и жара, перед ним большая жестяная кружка с вдавленными боками и с такой щелью на крышке, в какую смело мог бы пролезть добрый ржаной пряник. На белой вывеске, прибитой к задку телеги, крупными печатными буквами было написано, что такого-то числа и года в селе Малиновцах «по произволу господы пламенем пожара истребило храм» и что мирской сход с разрешения и благословения надлежащих властей постановил послать «доброхотных желателей» за сбором подаяния на построение храма. Сбоку телеги на перекладинке висел двадцатифунтовый колокол.

Ефрем никак не мог понять, где он находился, а лесная громада, куда исчезала дорога, не обещала ему близкого жилья. Постояв недолго, поправив шлею, он начал осторожно спускаться с бугра. Телега вздрогнула, и колокол издал звук, нарушивший ненадолго мертвую тишину знойного дня.

В лесу ждала Ефрема атмосфера удушливая, густая, насыщенная запахами хвои, мха и гниющих листьев. Слышен легкий звенящий стон назойливых комаров да глухие шаги самого путника. Лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, скользят по стволам, по нижним ветвям и небольшими кругами ложатся на темную землю, сплошь покрытую иглами. Кое-где у стволов мелькнет папоротник или жалкая костяника, а то хоть шаром покати.

Ефрем шел сбоку телеги и торопил лошадь. Колокол изредка, когда колеса наезжали на корневище, ползущее змеей через дорогу, жалобно позвякивал, как будто и ему хотелось на покой.

– Здорово, папаша! – услышал вдруг Ефрем резкий крикливый голос. – Путь-дорога!

У самой дороги, положив голову на муравейный холмик, лежал длинноногий мужик лет 30-ти, в ситцевой рубахе и в узких, не мужицких штанах, засунутых в короткие рыжие голенища. Около головы его валялась форменная чиновничья фуражка, полинявшая до такой степени, что только по пятнышку, оставшемся после кокарды, в можно было угадать ее первоначальный цвет. Лежал мужик непокойно: всё время, пока рассматривал его Ефрем, он дергал то руками, то ногами, точно его донимали комары или беспокоила чесотка. Но ни одежда, ни движения, ничто не было так странно в нем, как его лицо. Ефрем раньше во всю свою жизнь не видал таких лиц. Бледное, жидковолосое, с выдающимся вперед подбородком и с чубом на голове, оно в профиль походило на молодой месяц; нос и уши поражали своей мелкостью, глаза не мигали, глядели неподвижно в одну точку, как у дурачка или удивленного, и, в довершение

<sup>43</sup> ...образ Казанской божией матери... – Этой иконе, найденной в 1579 г. под Казанью, приписывались чудодейственные свойства.

странности лица, вся голова казалась сплюснутой с боков, так что затылочная часть черепа выдавалась назад правильным полукругом.

– Православный, – обратился к нему Ефрем, – далече ли тут до деревни?

– Нет, не далече. До села Малого верст пять осталось.

– Беда как пить хочется!

– Как не хотеть! – сказал странный мужик и усмехнулся. – Жарит не приведи бог как!

Жара, почитай, градусов в пятьдесят, а то и больше... Тебя как звать?

– Ефрем, парень...

– Ну, а меня – Кузьма... Чай, слышал, как свахи говорят: я за своего Кузьму кого хочешь возьму.

Кузьма стал одной ногой на колесо, вытянул губы и приложился к образу.

– А далече едешь? – спросил он.

– Далече, православный! Был и в Курском, и в самой Москве был, а теперь спешаю в Нижний на ярманку.<sup>44</sup>

– На храм собираешь?

– На храм, парень... Царице небесной Казанской... Погорел храм-то!

– Отчего погорел?

Лениво поворачивая языком, Ефрем стал рассказывать, как у них в Малиновцах под самый Ильин день<sup>45</sup> молния ударила в церковь. Мужики и причт, как нарочно, были в поле.

– Ребята, которые остались, завидели дым, хотели было в набат ударить, да, зная, прогневался Илья-пророк, церковь была заперши, и колокольную всю как есть полымем обхватило, так что и не достанешь того набата... Приходим с поля, а церковь, боже мой, так и пышет – подступиться страшно!

Кузьма шел рядом и слушал. Был он трезв, но шел, точно пьяный, размахивая руками, то сбоку телеги, то впереди...

– Ну, а ты как? На жалованье, что ли? – спросил он.

– Какое наше жалованье! За спасенье души ездим, мир послал...

– Так задаром и ездешь?

– А кто ж будет платить? Не по своей охоте еду, мир послал, да ведь мир за меня и хлеб уберет, и рожь посеет, и повинности справит... Стало быть, не задаром!

– А живешь чем?

– Христа ради.

– Меринок-то у тебя мирской?

– Мирской...

– Та-ак, братец ты мой... Покурить у тебя нету?

– Не курю, парень.

– А ежели у тебя лошадь издохнет, что тогда делать станешь? На чем поедешь?

– Зачем ей дохнуть? Не надо дохнуть...

– Ну, а ежели... разбойники на тебя нападут?

И болтливый Кузьма спросил еще: куда денутся деньги и лошадь, если сам Ефрем умрет? куда народ будет класть монету, если кружка вдруг окажется полной? что, если у кружки дно провалится, и т. п. А Ефрем, не успевая отвечать, только отдувался и удивленно поглядывал на своего спутника.

– Какая она у тебя пузатая! – болтал Кузьма, толкая кулаком кружку. – Ого, тяжелая! Небось, и серебра пропасть, а? А что, ежели б, скажем, тут одно только серебро было? Послушай, а много собрал за дорогу?

---

<sup>44</sup> ...в *Нижний на ярмарку*. – Нижегородская ярмарка – с 1817 г. место всероссийской торговли.

<sup>45</sup> *Ильин день* – 20 июля (2 августа).

- Не считал, не знаю. Народ и медь кладет, и серебро, а сколько – мне не видать.
- А бумажки кладут?
- Которые поблагородней, господа или купцы, те и бумажки подают.
- Что ж? И бумажки в кружке держишь?
- Не, зачем? Бумажка мягкая, она потрется... На грудях держу...
- А много насбирал бумажками?
- Да рублей с двадцать шесть насбирал.

– 26 целковых! – сказал Кузьма и пожал плечами. – У нас в Качаброве, спроси кого хочешь, строили церкву, так за одни платы было дадено три тыщи – во! Твоих денег и на гвозди не хватит! По нынешнему времю 26 целковых – раз плюнуть!.. Нынче, брат, купишь чай полтора целковых за фунт и пить не станешь... Сейчас вот, гляди, я курю табак... Мне он годится, потому я мужик, простой человек, а ежели какому офицеру или студенту...

Кузьма вдруг всплеснул руками и продолжал улыбаясь:

– С нами в арестантской сидел немец с железной дороги, так тот, братец ты мой, курил цыгары по десяти копеек штука! А-а? По десяти копеек! Ведь этак, дед, гляди, на сто целковых в месяц выкуришь!

Кузьма даже поперхнулся от приятного воспоминания, и неподвижные глаза его замигали.

– А нешто ты был в арестантской? – спросил Ефрем.

– Был, – ответил Кузьма и поглядел на небо. – Второй день, как выпустили. Целый месяц сидел.

Вечер наступал, уже садилось солнце, а духота не уменьшалась. Ефрем изнемогал и едва слушал Кузьму. Но вот, наконец, встретился мужик, который сказал, что до Малого осталась одна верста; еще немного – и телега выехала из леса, открылась большая поляна, и перед путниками, точно по волшебству, раскинулась живая, полная света и звуков картина. Телега въехала прямо в стадо коров, овец и спутанных лошадей. За стадом зеленели луга, рожь, ячмень, белела цветущая греча, а там дальше видно было Малое с темной, точно к земле приплюснутой церковью. За селом далеко опять громоздился лес, казавшийся теперь черным.

– Вот и Малое! – сказал Кузьма. – Мужики хорошо живут, но разбойники.

Ефрем снял шапку и зазвонил в колокол. Тотчас же от колодца, который стоял у самого края села, отделились два мужика. Они подошли и приложились к образу. Начались обычные расспросы: куда едешь? откуда?

– Ну, родня, давай божьему человеку пить! – заболтал Кузьма, хлопая по плечу то одного, то другого. – Поворачивайся!

– Какая я тебе родня? По какому случаю?

– Хо-хо-хо! Ваш поп нашему попу двоюродный священник! Твоя баба моего деда из Красного села за чуб вела!

Всё время, пока телега ехала по селу, Кузьма неумоимо болтал и привязывался ко всем встречным. С одного он сорвал шапку, другому ткнул кулаком в живот, третьего потрогал за бороду. Баб называл он милыми, душечками, мамашами, а мужиков, соображаясь с особыми приметам, рыжими, гнедыми, носастыми, кривыми и т. п. Всё это возбуждало самый живой и искренний смех. Скоро у Кузьмы нашлись и знакомые. Послышались возгласы: «А, Кузьма Шкворень! Здравствуй, вешаный! Давно ли из острога вернулся?»

– Эй, вы, подавайте божьему человеку! – болтал Кузьма, размахивая руками. – Поворачивайся! Живо!

И он важно держался, и покрикивал, как будто взял божьего человека под свое покровительство или же был его проводником.

Ефрему отвели для ночлега избу бабки Авдотьи, где обыкновенно останавливались странники и прохожие. Ефрем не спеша отпряг коня и сводил его на водопой к колодцу, где полчаса разговаривал с мужиками, а потом уж пошел на отдых. В избе поджидал его Кузьма.

– А, пришел! – обрадовался странный мужик. – Пойдешь в трактир чай пить?

– Чайку попить... оно бы ничего, – сказал Ефрем, почесываясь, – оно бы ничего, да денег нет, парень. Угостишь нешто?

– Угостишь... А на какие деньги?

Кузьма постоял, разочарованный, в раздумье и сел. Неуклюже поворачиваясь, вздыхая, почесываясь, Ефрем поставил икону и кружку под образами, разделся, разулся, посидел, затем поднялся и переставил кружку на лавку, опять сел и стал есть. Жевал он медленно, как коровы жуют жвачку, громко хлебая воду.

– Бедность наша! – вздохнул Кузьма. – Теперь бы водочки... чайку бы...

Два окошка, выходящих на улицу, слабо пропускали вечерний свет. На деревню легла уже большая тень, избы потемнели; церковь, сливаясь в потемках, росла в ширину и, казалось, уходила в землю... Слабый красный свет, должно быть, отражение вечерней зари, ласково мигал на ее кресте. Поевши, Ефрем долго сидел неподвижно, сложив руки на коленях, и глядел на окно. О чем он думал? В вечерней тишине, когда видишь перед собой одно только тусклое окно, за которым тихо-тихо замирает природа, когда доносится сиплый лай чужих собак и слабый визг чужой гармоник, трудно не думать о далеком родном гнезде. Кто был странником, кого нужда, неволя или прихоть забрасывали далеко от своих, тот знает, как длинен и томителен бывает деревенский вечер на чужой стороне.

Потом Ефрем долго стоял перед своим образом и молился. Укладываясь на скамье спать, он глубоко вздохнул и проговорил как бы нехотя:

– Несообразный ты... Какой-то ты такой, бог тебя знает...

– А что?

– А то... На настоящего человека не похож... Зубы скалишь, болтаешь непутевое, да вот из арестантской идешь...

– Легко ли дело! В арестантской, бывает, и хорошие господа сидят... Арестантская, брат, это ничего, пустяковое дело, хоть целый год сидеть могу, а вот ежели острог, то беда. Сказать по правде, я уже раза три в остроге сидел, и нет той недели, чтоб меня в волости не драли... Озлобились все, проклятые... Собирается общество в Сибирь сослать.<sup>46</sup> Уж и приговор такой составили.

– Стало быть, хорош!

– А мне что? И в Сибири люди живут.

– Отец и мать-то у тебя есть?

– Ну их! Живы еще, не поколели...

– А чти отца твоего и мать твою?<sup>47</sup>

– Пушай... Я так понимаю, что они первые мне злодеи и душегубцы. Кто против меня мир натравил? Они да дядька Степан. Больше некому.

– Много ты знаешь, дурак... Мир и без твоего дядьки Степана чувствует, какой ты человек есть. А за что это тебя здешние мужики вешаным зовут?

– А когда я мальчиком был, так наши мужики чуть было меня не убили. Повесили за шею на дерево, проклятые, да, спасибо, ермолинские мужики ехали мимо, отбили...

– Вредный член общества!.. – проговорил Ефрем и вздохнул.

Он повернулся лицом к стенке и скоро захрапел.

---

<sup>46</sup> *Собирается общество в Сибирь сослать.* – Сельское общество – хозяйственно-административная единица крестьянского самоуправления; по закону 19 февраля 1861 г. могло выносить приговор об удалении «вредных и порочных» членов.

<sup>47</sup> *...чти отца твоего и мать твою?* – Пятая из десяти заповедей, переданных, по библейской легенде, Моисею и записанных на скрижалях (Библия. Исход, гл. XX, ст. 12).

Когда он проснулся среди ночи, чтоб поглядеть на лошадь, Кузьмы в избе не было. Около открытой настежь двери стояла белая корова, заглядывала со двора в сени и стучала рогом о косяк. Собаки спали... В воздухе было тихо и спокойно. Где-то далеко, за теньями в ночной тишине, кричал дергач да протяжно всхлипывала сова.

А когда он проснулся в другой раз на рассвете, Кузьма сидел на скамье за столом и о чем-то думал. На его бледном лице застыла пьяная, блаженная улыбка. Какие-то радужные мысли бродили в его приплюснутой голове и возбуждали его; он дышал часто, точно запыхался от ходьбы на гору.

– А, божий человек! – сказал он, заметив пробуждение Ефрема, и ухмыльнулся. – Хочешь белой булки?

– Ты где был? – спросил Ефрем.

– Гы-ы! – засмеялся Кузьма. – Гы-ы!

Раз десять со своею странною, неподвижной улыбкой произнес он это «гы-ы!» и, наконец, затрясся от судорожного смеха.

– Чай... чай пил, – выговорил он сквозь смех. – Во... водку пил!

И он стал рассказывать длинную историю о том, как он в трактире с заезжими фурщиками пил чай и водку; и, рассказывая, вытаскивал из карманов спички, четвертку табаку, баранки...

– Чведские спички! – во! Пшш! – говорил он, сжигая подряд несколько спичек и закуривая папиросу. – Чведские, настоящие! Погляди!

Ефрем зевал и почесывался, но вдруг точно его что-то больно укусило, он вскочил, быстро поднял вверх рубаху и стал ощупывать голую грудь; потом, топчась около скамьи, как медведь, он перебрал и переглядел всё свое тряпье, заглянул под скамью, опять ощупал грудь.

– Деньги пропали! – сказал он.

Полминуты Ефрем стоял не шевелясь и тупо глядел на скамью, потом опять принялся искать.

– Мать пречистая, деньги пропали! Слышишь? – обратился он к Кузьме. – Деньги пропали!

Кузьма внимательно рассматривал рисунок на коробке со спичками и молчал.

– Где деньги? – спросил Ефрем, делая шаг к нему.

– Какие деньги? – небрежно, сквозь зубы процедил Кузьма, не отрывая глаз от коробки.

– А те деньги... эти самые, что у меня на грудях были!..

– Чего пристал? Потерял, так ищи!

– Да где ищи? Где они?

Кузьма поглядел на багровое лицо Ефрема и сам побагровел.

– Какие деньги? – закричал он, вскакивая.

– Деньги! 26 рублей!

– Я их взял, что ли? Пристает, сволочь!

– Да что сволочь! Ты скажи, где деньги?

– А я их брал, твои деньги? Брал? Ты говори: брал? Я тебе, проклятый, покажу такие деньги, что ты отца-мать не узнаешь!

– Ежели ты не брал, зачем же ты харю воротишь? Стало быть, ты взял! Да и то сказать, на какие деньги всю ночь в трактире гулял и табак покупал? Глупый ты человек, несообразный! Нешто ты меня обидел? Ты бога обидел!

– Я... я брал? Когда я брал? – закричал высоким, визжащим голосом Кузьма, размахнулся и ударил кулаком по лицу Ефрема. – Вот тебе! Хочешь, чтоб еще влетело? Я не погляжу, что ты божий человек!

Ефрем только встряхнул головой и, не сказав ни слова, стал обуваться.

– Ишь, жулик! – продолжал кричать Кузьма, всё более возбуждаясь. – Сам пропил, а на людей путаешь, старая собака! Я судиться буду! За наговор ты у меня насидишься в остроге!

– Ты не брал, ну и молчи, – покойно ответил Ефрем.

– На, обыскивай!

– Ежели ты не брал, зачем же мне... тебя обыскивать? Не брал, ну и ладно... Кричать нечего, не перекричишь бога-то...

Ефрем обулся и вышел из избы. Когда он вернулся, Кузьма, всё еще красный, сидел у окна и дрожащими руками закуривал папиросу.

– Старый чёрт, – ворчал он. – Много вас тут ездит, людей морочит. Не на такого наскочил, брат! Меня не обжулишь. Я сам все эти самые дела отлично понимаю. Посылай за старостой!

– Зачем это?

– Протокол составить! Пушай нас в волостном рассудят!

– Нас нечего судить! Не мои деньги, божьи... Ужо бог рассудит.

Ефрем помолился и, взяв кружку и образ, вышел из избы.

Час спустя телега уже въезжала в лес. Малое с приплюснутой церковью, поляна и полосы ржи были уже позади и тонули в легком утреннем тумане. Солнце взошло, но не поднималось еще из-за леса и золотило только края облаков, обращенные к восходу.

Кузьма шел поодаль за телегой. Вид у него был такой, как будто его страшно и незаслуженно оскорбили. Ему очень хотелось говорить, но он молчал и ждал, когда начнет говорить Ефрем.

– Неохота связываться с тобой, а то загудел бы ты у меня, – проговорил он как бы про себя. – Я бы тебе показал, как на людей путать, чёрт лысый...

Прошло в молчании еще с полчаса. Божий человек, молившийся на ходу богу, быстро закрестился, глубоко вздохнул и полез в телегу за хлебом.

– Вот в Телибеево приедем, – начал Кузьма, – там наш мировой живет. Подавай прошение!

– Зря болтаешь. Какая надобность мировому? Нешто его деньги? Деньги божьи. Перед богом ты ответчик.

– Зарядил: божьи! божьи! словно ворона. Такое дело, что ежели я украл, то пушай меня судят, а ежели я не украл, то тебя за наговор.

– Есть мне время по судам ходить!

– Стало быть, тебе денег не жалко?

– Что мне жалеть? Деньги не мои, божьи...

Ефрем говорил неохотно, спокойно, и лицо его было равнодушно и бесстрастно, точно он в самом деле не жалел денег или же забыл о своей потере. Такое равнодушие к потере и к преступлению, видимо, смущало и раздражало Кузьму. Для него оно было непонятно.

Естественно, когда на обиду отвечают хитростью и силой, когда обида влечет за собою борьбу, которая самого обидчика ставит в положение обиженного. Если бы Ефрем поступил по-человечески, то есть обиделся, полез бы драться и жаловаться, если бы мировой присудил в тюрьму или решил: «доказательств нет», Кузьма успокоился бы; но теперь, идя за телегой, он имел вид человека, которому чего-то недостает.

– Я не брал у тебя денег! – сказал он.

– Не брал, ну и ладно.

– Доедем до Телибеева, я кликну старосту. Пушай... он разберет...

– Нечего ему разбирать. Не его деньги. А ты, парень, отстал бы. Иди своей дорогой! Опостылел!

Кузьма долго поглядывал на него искоса, не понимая его, желая разгадать, о чем он думает, какой страшный замысел таится в его душе, и наконец решился заговорить по-иному.

– Эх ты, пава, и посмеяться с тобой нельзя, сейчас и обижаешься... Ну, ну... возьми твои деньги! Я в шутку.

Кузьма достал из кармана несколько рублевых бумажек и подал их Ефрему. Тот не удивился и не обрадовался, а как будто ждал этого, взял деньги и, ни слова не говоря, сунул их в карман.

– Я посмеяться хотел, – продолжал Кузьма, пытливо вглядываясь в его бесстрастное лицо. – Попужать пришла охота. Думал так, попужаю и отдам поутру... Всех денег было 26 целковых, а тут десять, не то девять... Фуршики у меня отняли... Ты не сердчай, дед... Не я пропил, фуршики... Ей-богу!

– Что мне сердчать? Деньги божьи... Не меня ты обидел, а царицу небесную...

– Я, может, только целковый и пропил.

– Мне-то что? Хоть всё возьми да пропей... Целковый ли ты, копейку ли, для бога всё единственно. Один ответ.

– А ты не сердчай, дед. Право, не сердчай. Чего там!

Ефрем молчал. Лицо Кузьмы заморгало и приняло детски-плачущее выражение.

– Прости Христа ради! – сказал он, умоляюще глядя Ефрему в затылок. – Ты, дядя, не обижайся. Я это в шутку.

– Э, пристал! – сказал раздраженно Ефрем. – Говорю тебе: не мои деньги! Проси у бога, чтоб простил, а мое дело сторона!

Кузьма поглядел на образ, на небо, на деревья, как бы ища бога, и выражение ужаса перекосило его лицо. Под влиянием лесной тишины, суровых красок образа и бесстрастия Ефрема, в которых было мало обыденного и человеческого, он почувствовал себя одиноким, беспомощным, брошенным на произвол страшного, гневного бога. Он забежал вперед Ефрема и стал глядеть ему в глаза, как бы желая убедиться, что он не один.

– Прости Христа ради! – сказал он, начиная дрожать всем телом. – Дед, прости!

– Отстань!

Кузьма еще раз быстро оглядел небо, деревья, телегу с образом и повалился в ноги Ефрему. В ужасе он бормотал неясные слова, стучал лбом о землю, хватал старика за ноги и плакал громко, как ребенок.

– Дедушка, родненький! Дяденька! Божий человек!

Ефрем сначала в недоумении пяtilся и отстранял его от себя руками, но потом и сам стал пугливо поглядывать на небо. Он почувствовал страх и жалость к вору.

– Постой, парень, слушай! – начал он убеждать Кузьму. – Да ты послушай, что я скажу тебе, дураку! Э, ревет, словно баба! Слушай, хочешь, чтоб бог простил, – так, как приедешь к себе в деревню, сейчас к попу ступай... Слышишь?

Ефрем стал объяснять Кузьме, что нужно сделать, чтобы загладить грех: нужно покаяться попу, наложить на себя епитимию, потом собрать и выслать в Малиновцы украденные и пропитые деньги и в предбудущее время вести себя тихо, честно, трезво, по-христиански. Кузьма выслушал его, мало-помалу успокоился и уж, казалось, совсем забыл про свое горе: дразнил Ефрема, болтал... Ни на минуту не умолкая, он рассказывал опять про людей, живущих в свое удовольствие, про арестантскую и немца, про острог, одним словом, про всё то, о чем рассказывал вчера. И он хохотал, всплескивал руками, благоговейно пяtilся, точно рассказывал что-нибудь новое. Выражался он складно, на манер бывалых людей, с прибаутками и поговорками, но слушать его было тяжело, так как он повторялся, то и дело останавливался, чтобы вспомнить внезапно потерянную мысль, и при этом морщил лоб и кружился на одном месте, размахивая руками. И как он хвастал, как лгал!

В полдень, когда телега остановилась в Телибееве, Кузьма пошел в кабаk. Часа два отдыхал Ефрем, а он всё не выходил из кабака. Слышно было, как он бранился там, хвастал, стучал по прилавку и как смеялись над ним пьяные мужики. А когда Ефрем выезжал из Телибеева,

в кабаке начиналась драка, и Кузьма звонким голосом грозил кому-то и кричал, что пошлет за урядником.

## Тиф

В почтовом поезде, шедшем из Петербурга в Москву, в отделении для курящих, ехал молодой поручик Климов. Против него сидел пожилой человек с бритой шкиперской физиономией, по всем видимостям, зажиточный чухонец или швед, всю дорогу сосавший трубку и говоривший на одну и ту же тему:

– Га, вы офицер! У меня тоже брат офицер, но только он морьяк... Он морьяк и служит в Кронштадт. Вы зачем едете в Москву?

– Я там служу.

– Га! А вы семейный?

– Нет, я живу с теткой и сестрой.

– Мой брат тоже офицер, морьяк, но он семейный, имеет жена и три ребенка. Га!

Чухонец чему-то удивлялся, идиотски-широко улыбался, когда восклицал «га!», и то и дело продувал свою вонючую трубку. Климов, которому нездоровилось и тяжело было отвечать на вопросы, ненавидел его всей душой. Он мечтал о том, что хорошо бы вырвать из его рук сипевшую трубку и швырнуть ее под диван, а самого чухонца прогнать куда-нибудь в другой вагон.

«Противный народ эти чухонцы и... греки, – думал он. – Совсем лишний, ни к чему не нужный, противный народ. Занимают только на земном шаре место. К чему они?»

И мысль о чухонцах и греках производила во всем его теле что-то вроде тошноты. Для сравнения хотел он думать о французах и итальянцах, но воспоминание об этих народах вызывало в нем представление почему-то только о шарманщиках, голых женщинах и заграничных олеографиях, которые висят дома у тетки над комодом.

Вообще офицер чувствовал себя ненормальным. Руки и ноги его как-то не укладывались на диване, хотя весь диван был к его услугам, во рту было сухо и липко, в голове стоял тяжелый туман; мысли его, казалось, бродили не только в голове, но и вне черепа, меж диванов и людей, окутанных в ночную мглу. Сквозь головную муть, как сквозь сон, слышал он бормотанье голосов, стук колес, хлопанье дверей. Звонки, свистки кондуктора, беготня публики по платформе слышались чаще, чем обыкновенно. Время летело быстро, незаметно, и потому казалось, что поезд останавливался около станции каждую минуту, и то и дело извне доносились металлические голоса:

– Готова почта?

– Готова!

Казалось, что слишком часто истопник входил и поглядывал на термометр, что шум встречного поезда и грохот колес по мосту слышались без перерыва. Шум, свистки, чухонец, табачный дым – всё это, мешаясь с угрозами и миганьем туманных образов, форму и характер которых не может припомнить здоровый человек, давило Климова невыносимым кошмаром. В страшной тоске он поднимал тяжелую голову, взглядывал на фонарь, в лучах которого кружились тени и туманные пятна, хотел просить воды, но высохший язык едва шевелился и едва хватало силы отвечать на вопросы чухонца. Он старался поудобнее улечься и уснуть, но это ему не удавалось; чухонец несколько раз засыпал, просыпался и закуривал трубку, обращался к нему со своим «га!» и вновь засыпал, а ноги поручика всё никак не укладывались на диване, и грозящие образы всё стояли перед глазами.

В Спирове<sup>48</sup> он вышел на станцию, чтобы выпить воды. Он видел, как за столом сидели люди и спешили есть.

<sup>48</sup> Спирово – станция б. Николаевской ж. д., между Вышним Волочком и Лихославлем.

«И как они могут есть!» – думал он, стараясь не нюхать воздуха, пахнувшего жареным мясом, и не глядеть на жующие рты, – то и другое казалось ему противным до тошноты.

Какая-то красивая дама громко беседовала с военным в красной фуражке и, улыбаясь, показывала великолепные белые зубы; и улыбка, и зубы, и сама дама произвели на Климова такое же отвратительное впечатление, как окорок и жареные котлеты. Он не мог понять, как это военному в красной фуражке не жутко сидеть возле нее и глядеть на ее здоровое, улыбающееся лицо.

Когда он, выпив воды, вернулся в вагон, чухонец сидел и курил. Его трубка сипела и всхлипывала, как дырявая калоша в сырую погоду.

– Га! – удивился он. – Это какая станция?

– Не знаю, – ответил Климов, ложась и закрывая рот, чтобы не дышать едким табачным дымом.

– А в Твери когда мы будем?

– Не знаю. Извините, я... я не могу отвечать. Я болен, простудился сегодня.

Чухонец постучал трубкой об оконную раму и стал говорить о своем брате-моряке. Климов уж более не слушал его и с тоской вспоминал о своей мягкой, удобной постели, о графине с холодной водой, о сестре Кате, которая так умеет уложить, успокоить, подать воды. Он даже улыбнулся, когда в его воображении мелькнул денщик Павел, снимающий с барина тяжелые, душные сапоги и ставящий на столик воду. Ему казалось, что стоит только лечь в свою постель, выпить воды, и кошмар уступил бы свое место крепкому, здоровому сну.

– Почта готова? – донесся издали глухой голос.

– Готова! – ответил бас почти у самого окна.

Это была уже вторая или третья станция от Спирова.

Время летело быстро, скачками, и казалось, что звонкам, свисткам и остановкам не будет конца. Климов в отчаянии уткнулся лицом в угол дивана, обхватил руками голову и стал опять думать о сестре Кате и денщике Павле, но сестра и денщик смешались с туманными образами, завертелись и исчезли. Его горячее дыхание, отражаясь от спинки дивана, жгло ему лицо, ноги лежали неудобно, в спину дуло от окна, но, как ни мучительно было, ему уж не хотелось переменять свое положение... Тяжелая, кошмарная лень мало-помалу овладела им и сковала его члены.

Когда он решился поднять голову, в вагоне было уже светло. Пассажиры надевали шубы и двигались. Поезд стоял. Артельщики в белых фартуках и с бляхами суетились возле пассажиров и хватали их чемоданы. Климов надел шинель, машинально вслед за другими вышел из вагона, и ему казалось, что идет не он, а вместо него кто-то другой, посторонний, и он чувствовал, что вместе с ним вышли из вагона его жар, жажда и те грозящие образы, которые всю ночь не давали ему спать. Машинально он получил багаж и нанял извозчика. Извозчик запросил с него до Поварской рубль с четвертью, но он не торговался, а беспрекословно, послушно сел в сани. Разницу в числах он еще понимал, но деньги для него уже не имели никакой цены.

Дома Климова встретили тетка и сестра Катя, восемнадцатилетняя девушка. В руках Кати, когда она здоровалась, были тетрадка и карандаш, и он вспомнил, что она готовится к учительскому экзамену. Не отвечая на вопросы и приветствия, а только отдуваясь от жара, он без всякой цели прошелся по всем комнатам и, дойдя до своей кровати, повалился на подушку. Чухонец, красная фуражка, дама с белыми зубами, запах жареного мяса, мигающие пятна заняли его сознание, и уже он не знал, где он, и не слышал встревоженных голосов.

Очнувшись, он увидел себя в своей постели, раздетым, увидел графин с водой и Павла, но от этого ему не было ни прохладнее, ни мягче, ни удобнее. Ноги и руки по-прежнему не укладывались, язык прилипал к нёбу, и слышалось всхлипыванье чухонской трубки... Возле кровати, толкая своей широкой спиной Павла, суетился плотный чернобородый доктор.

– Ничего, ничего, юноша! – бормотал он. – Отлично, отлично... Тэк, тэк...

Доктор называл Климова юношей, вместо «так» говорил «тэк», вместо «да» – «дэ»...  
– Дэ, дэ, дэ, – сыпал он. – Тэк, тэк... Отлично, юноша... Не надо унывать!

Быстрая, небрежная речь доктора, его сытая физиономия и снисходительное «юноша» раздражали Климова.

– Зачем вы зовете меня юношей? – простонал он. – Что за фамильярность? К чёрту!

И он испугался своего голоса. Этот голос был до того сух, слаб и певуч, что его нельзя было узнать. – Отлично, отлично, – забормотал доктор, нисколько не обижаясь. – Не надо сердиться... Дэ, дэ, дэ...

И дома время летело так же поразительно быстро, как и в вагоне... Дневной свет в спальне то и дело сменялся ночными сумерками. Доктор, казалось, не отходил от кровати, и каждую минуту слышалось его «дэ, дэ, дэ». Через спальную непрерывно тянулся ряд лиц. Тут были: Павел, чухонец, штабс-капитан Ярошевич, фельдфебель Максименко, красная фуражка, дама с белыми зубами, доктор. Все они говорили, махали руками, курили, ели. Раз даже при дневном свете Климов видел своего полкового священника о. Александра, который в епитрахили и с трезником в руках стоял перед кроватью и бормотал что-то с таким серьезным лицом, какого раньше Климов не наблюдал у него. Поручик вспомнил, что о. Александр всех офицеров-католиков приятельски обзывал «ляхами», и, желая посмешить его, крикнул:

– Батя, лях Ярошевич до лясу бежал!

Но о. Александр, человек смешливый и веселый, не засмеялся, а стал еще серьезнее и перекрестил Климова. Ночью раз за разом бесшумно входили и выходили две тени. То были тетка и сестра. Тень сестры становилась на колени и молилась: она кланялась образу, кланялась на стене и ее серая тень, так что богу молились две тени. Всё время пахло жареным мясом и трубкой чухонца, но раз Климов почувствовал резкий запах ладана. Он задвигался от тошноты и стал кричать:

– Ладан! Унесите ладан!

Ответа не было. Слышно было только, как где-то негромко пели священники и как кто-то бежал по лестнице.

Когда Климов очнулся от забытья, в спальне не было ни души. Утреннее солнце било в окно сквозь спущенную занавеску, и дрожащий луч, тонкий и грациозный, как лезвие, играл на графине. Слышался стук колес – значит, снега уже не было на улице. Поручик поглядел на луч, на знакомую мебель, на дверь и первым делом засмеялся. Грудь и живот задрожали от сладкого, счастливого и щекочущего смеха. Всем его существом, от головы до ног, овладело ощущение бесконечного счастья и жизненной радости, какую, вероятно, чувствовал первый человек, когда был создан и впервые увидел мир. Климов страстно захотел движения, людей, речей. Тело его лежало неподвижным пластом, шевелились одни только руки, но он это едва заметил и всё внимание свое устремил на мелочи. Он радовался своему дыханию, своему смеху, радовался, что существует графин, потолок, луч, тесемка на занавеске. Мир божий даже в таком тесном уголке, как спальня, казался ему прекрасным, разнообразным, великим. Когда явился доктор, поручик думал о том, какая славная штука медицина, как мил и симпатичен доктор, как вообще хороши и интересны люди.

– Дэ, дэ, дэ... – сыпал доктор. – Отлично, отлично... Теперь уж мы здоровы... Тэк, тэк.

Поручик слушал и радостно смеялся. Вспомнил он чухонца, даму с белыми зубами, окорок, и ему захотелось курить, есть.

– Доктор, – сказал он, – прикажите дать мне корочку ржаного хлеба с солью и... и сардин.

Доктор отказал, Павел не послушался приказа и не пошел за хлебом. Поручик не вынес этого и заплакал, как капризный ребенок.

– Малюточка! – засмеялся доктор. – Мама, бай, а-а!

Климов тоже засмеялся и, по уходе доктора, крепко уснул. Проснулся он с тою же радостью и с ощущением счастья. Возле постели сидела тетка.

– А, тетя! – обрадовался он. – Что у меня было?

– Сыпной тиф.

– Вот что. А теперь мне хорошо, очень хорошо! Где Катя?

– Дома нет. Вероятно, зашла куда-нибудь с экзамена.

Старуха сказала это и нагнулась к чулку; губы ее затряслись, она отвернулась и вдруг зарыдала. В отчаянии, забыв запрещение доктора, она проговорила:

– Ах, Катя, Катя! Нет нашего ангела! Нет!

Она уронила чулок и нагнулась за ним, и в это время с головы ее свалился чепец. Взглянув на ее седую голову и ничего не понимая, Климов испугался за Катю и спросил:

– Где же она? Тетя!

Старуха, которая уже забыла про Климова и помнила только свое горе, сказала:

– Заразилась от тебя тифом и... и умерла. Третьего дня похоронили.

Эта страшная, неожиданная новость целиком вошла в сознание Климова, но, как ни была она страшна и сильна, она не могла побороть животной радости, наполнявшей выздоравливающего поручика. Он плакал, смеялся и скоро стал браниться за то, что ему не дают есть.

Только спустя неделю, когда он в халатишке, поддерживаемый Павлом, подошел к окну, поглядел на пасмурное весеннее небо и прислушался к неприятному стуку старых рельсов, которые провозили мимо, сердце его сжалось от боли, он заплакал и припал лбом к оконной раме.

– Какой я несчастный! – забормотал он. – Боже, какой я несчастный!

И радость уступила свое место обиденной скуке и чувству невозвратимой потери.

## Житейские невзгоды

Лев Иванович Попов, человек нервный, несчастный на службе и в семейной жизни, потянул к себе счета и стал считать снова. Месяц тому назад он приобрел в банкирской конторе Кошкера выигранный билет 1-го займа на условиях погашения ссуды частями в виде ежемесячных взносов и теперь высчитывал, сколько ему придется заплатить за всё время погашения и когда билет станет его полною собственностью.

– Билет стоит по курсу 246 рублей, – считал он. – Дал я задатку 10 руб., значит, осталось 236. Хорошо-с... К этой сумме нужно прибавить проценты за 1 месяц в размере 7 % годовых и j% комиссионных<sup>49</sup>, гербовый сбор, почтовые расходы за пересылку залоговой квитанции 21 коп., страхование билета 1 руб. 10 коп., за транзит 1 руб. 22 коп., за элеватор<sup>50</sup> 74 коп., пени 18 коп. ...

За перегородкой на кровати лежала жена Попова, Софья Саввишна, приехавшая к мужу из Мценска просить отдельного вида на жительство. В дороге она простудилась, схватила флюс и теперь невыносимо страдала. Наверху за потолком какой-то энергический мужчина, вероятно ученик консерватории, разучивал на рояли рапсодию Листа<sup>51</sup> с таким усердием, что, казалось, по крыше дома ехал товарный поезд. Направо, в соседнем номере, студент-медик готовился к экзамену. Он шагал из угла в угол и зубрил густым семинарским басом:

– Хронический катарр желудка наблюдается также у привычных пьяниц, обжор, вообще у людей, ведущих неумеренный образ жизни...

В номере стоял удушливый запах гвоздики, креозота, йода, карболки и других вонючих веществ, которые Софья Саввишна употребляла против своей зубной боли.

– Хорошо-с, – продолжал считать Попов. – К 236 прибавить 14 руб. 81 коп., итого к этому месяцу остается 250 руб. 81 коп. Теперь, если я в марте уплачу 5 руб., то, значит, останется 240 руб. 81 коп. Хорошо-с. Теперь, считая за 1 месяц вперед 7 % годовых и j% комиссионных...

– Аа-х! – застонала жена. – Да помоги же мне, Лев Иваныч! Умира-аю!

– Что же я, матушка, сделаю? Я не доктор... j% комиссионных, 1 / 5 % куртажа<sup>52</sup>, на каботаж 1 руб. 22 коп., за транзит 74 коп. ...

– Бесчувственный! – заплакала Софья Саввишна, высовывая свою опухшую физиономию из-за ширмы. – Ты никогда мне не сочувствовал, мучитель! Слушай, когда я тебе говорю! Невежа!

– Стало быть, j% комиссионных... за транзит 74 коп., за элеватор 18 коп., за упаковку 32 коп. – итого 17 руб. 12 коп.

– Хронический катарр желудка, – зубрил студент, шагая из угла в угол, – наблюдается также у привычных пьяниц, обжор...

Попов встряхнул счета, мотнул угоревшей головой и стал считать снова. Через час он сидел всё на том же месте, тарасил глаза в залоговую квитанцию и бормотал:

<sup>49</sup> ...проценты за 1 месяц в размере 7 % годовых и 9 % комиссионных... – В объявлениях банкирского дома А. Зингер и К° сказано, что он взимал «по специальному текущему счету „оп call“ ..... 7 проц. год. и j проц. мес. комм.».

<sup>50</sup> ...элеватор... – В конце 1886 г. в министерстве финансов готовился проект о строительстве элеваторов. Отсутствием их объяснялось падение цен на русский хлеб и уменьшение спроса на него за границей. Газеты много писали об этом (см.: «Вновь возбужденный вопрос об элеваторах». – «Русский курьер», 1886, № 329, 29 ноября).

<sup>51</sup> ...рапсодию Листа... – Ф. Лист (1811–1886) – венгерский композитор и пианист. Имя его часто встречается на страницах русских газет и журналов конца 1886 – начала 1887 гг. Вторую рапсодию Листа любил исполнять брат Чехова, Николай (Вокруг Чехова, стр. 135).

<sup>52</sup> Куртаж – плата маклеру за посредничество при продаже или покупке биржевых бумаг.

– Значит, в августе 1896 года останется 228 руб. 67 коп. Хорошо-с... В сентябре я взношу 5 руб., останется 223 руб. 67 коп. Ну-с, прибавляя за 1 месяц вперед 7 % годовых, j% комиссионных...

– Варвар, подай нашатырный спирт! – взвизгнула Софья Саввишна. – Тиран! Убийца!

– Хрронический катарр желудка наблюдается также при стррраданиях печени...

Попов подал жене спирт и продолжал:

– j% комиссионных, за транзит 74 коп., издержки по аберрации 18 коп., пени 32 коп. ...

Наверху музыка было утихла, но через минуту пианист заиграл снова и с таким ожесточением, что в матрасе под Софьей Саввишной задвигалась пружина. Попов ошалело поглядел на потолок и начал считать опять с августа 1896 года. Он глядел на бумаги с цифрами, на счета и видел что-то вроде морской зыби; в глазах его рябило, мозги путались, во рту пересохло, и на лбу выступил холодный пот, но он решил не вставать, пока окончательно не уразумеет своих денежных отношений к банкирской конторе Кошкера.

– А-ах! – мучилась Софья Саввишна. – Всю правую сторону рвет. Владычица! О-ох, моченьки моей нет! А ему, аспиду, хоть трава не расти! Хоть умри я, ему всё равно! Несчастливая я, страдалица! Вышла за идола, мученица!

– Но что же я могу сделать? Значит, в феврале 1903 года я буду должен 208 руб. 7 коп. Хорошо-с. Теперь, прибавляя 7 % годовых, j% комиссионных, куртажа 74 коп. ...

– Хррронический катарр желудка наблюдается и при страданиях легких...

– Не муж ты, не отец своих детей, а тиран и мучитель! Подай скорей хоть гвоздичку, бесчувственный!

– Тьфу! j% комиссионных... то есть что же я? За вычетом прибыли от купонов<sup>53</sup>, с прибавлением 7 % годовых за месяц вперед, j% комиссионных...

– Хрррронический катарр желудка наблюдается и при страданиях легких...

Часа три спустя Попов подвел последний итог. Оказалось, что за всё время погашения придется заплатить банкирской конторе Кошкера 1 347 821 руб. 92 коп. и что если вычсть отсюда выигрыш в двести тысяч, то всё же останется убытку больше миллиона. Увидев такие цифры, Лев Иванович медленно поднялся, похолодел... На лице у него выступило выражение ужаса, недоумения и оторопи, как будто у него выстрелили под самым ухом. В это время наверху за потолком к пианисту подсел товарищ, и четыре руки, дружно ударив по клавишам, стали нажаривать рапсодию Листа. Студент-медик быстрее зашагал, прокашлялся и загудел:

– Хррронический катарр желудка наблюдается также у привычных пьяниц, обжоррр...

Софья Саввишна взвизгнула, швырнула подушку, застучала ногами... Боль ее, по-видимому, только что начинала разыгрываться...

Попов вытер холодный пот, опять сел за стол и, встряхнув счета, сказал:

– Надо проверить... Очень возможно, что я немножко ошибся...

И он принялся опять за квитанцию и начал снова считать:

– Билет стоит по курсу 246 руб... Дал я задатку 10 руб., значит, осталось 236...

А в ушах у него стучало:

– Дыр... дыр... дыр...

И уже слышались выстрелы, свист, хлопанье бичей, рев львов и леопардов.

– Осталось 236! – кричал он, стараясь перекричать этот шум. – В июне я взношу 5 рублей! Чёрт возьми, 5 рублей! Чёрт вас дери, в рот вам дышло, 5 рублей! Vive la France!<sup>54</sup> Да здравствует Дерулед!<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Купоны – род квитанций, которыми были снабжены процентные бумаги и в которых обозначался срок и количество процентов, приносимых бумагою.

<sup>54</sup> Да здравствует Франция! (франц.)

<sup>55</sup> Дерулед – П. Дерулед (1846–1914) – французский поэт, реакционер, националист; в августе 1886 г. приезжал в Россию. Русская пресса много писала о его визите.

Наутро его свезли в больницу.

## На страстной неделе

– Иди, уже звонят. Да смотри, не шали в церкви, а то бог накажет.

Мать сует мне на расходы несколько медных монет и тотчас же, забыв про меня, бежит с остывшим утюгом в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить, а потому, прежде чем выйти из дому, насильно съедаю краюху белого хлеба, выпиваю два стакана воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты бурым месивом, на котором уже начинают обозначаться будущие тропинки; крыши и тротуары сухи; под заборами сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная, молодая зелень. В канавах, весело журча и пенясь, бежит грязная вода, в которой не брезгают купаться солнечные лучи. Щепочки, соломинки, скорлупа подсолнухов быстро несутся по воде, кружатся и цепляются за грязную пену. Куда, куда плывут эти щепочки? Очень возможно, что из канавы попадут они в реку, из реки в море, из моря в океан... Я хочу вообразить себе этот длинный, страшный путь, но моя фантазия обрывается, не дойдя до моря.

Проезжает извозчик. Он чмокает, дергает вожжи и не видит, что на задке его пролетки повисли два уличных мальчика. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю про исповедь, и мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками.

«На Страшном суде их спросят: зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика? – думаю я. – Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей и подавать нищим по копейке или по бублику, то бог жалится над ними и пустит их в рай».

Церковная паперть суха и залита солнечным светом. На ней ни души. Нерешительно я открываю дверь и вхожу в церковь. Тут в сумерках, которые кажутся мне густыми и мрачными, как никогда, мною овладевает сознание греховности и ничтожества. Прежде всего бросаются в глаза большое распятие и по сторонам его божия мать и Иоанн Богослов<sup>56</sup>. Паникадила и ставники одеты в черные, траурные чехлы<sup>57</sup>, лампадки мерцают тускло и робко, а солнце как будто умышленно минует церковные окна. Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изображенные в профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия; я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, и все они представляются мне мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу; церковные сумерки делаются гуще и мрачнее, и божия мать с Иоанном Богословом кажутся мне одинокими.

За свечным шкапом стоит Прокофий Игнатьич, старый отставной солдат, помощник церковного старосты. Подняв брови и поглаживая бороду, он объясняет полушёпотом какой-то старухе:

– Утренняя будет сегодня с вечера, сейчас же после вечерни. А завтра к часам ударят<sup>58</sup> в восьмом часу. Поняла? В восьмом.

А между двух широких колонн направо, там, где начинается придел Варвары Великомученицы<sup>59</sup>, возле ширмы, ожидая очереди, стоят исповедники... Тут же и Митька, оборванный,

<sup>56</sup> *Иоанн Богослов* – автор одного из четырех Евангелий – Евангелия от Иоанна.

<sup>57</sup> *Паникадила и ставники одеты в черные, траурные чехлы...* – В течение страстной недели паникадила (большие люстры, висающие под сводом храма) и ставники (большие подсвечники) завязываются черным креплом в память о страданиях (страстях) Христа.

<sup>58</sup> *...к часам ударят...* – зазвонят в маленький колокол перед началом краткого богослужения – «часами».

<sup>59</sup> *Варвара Великомученица* – по преданию, христианка, жившая в III–IV вв.; причислена к лику святых.

некрасиво остриженный мальчик с оттопыренными ушами и маленькими, очень злыми глазами. Это сын вдовы поденщицы Настасьи, забияка, разбойник, хватающий с лотков у торговки яблоки и не раз отнимавший у меня бабки. Он сердито оглядывает меня и, мне кажется, злорадствует, что не я, а он первый пойдет за ширму. Во мне закипает злоба, я стараюсь не глядеть на него и в глубине души досаую на то, что этому мальчишке простятся сейчас грехи.

Впереди него стоит роскошно одетая, красивая дама в шляпке с белым пером. Она заметно волнуется, напряженно ждет, и одна щека у нее от волнения лихорадочно зарумянилась.

Жду я пять минут, десять... Из-за ширм выходит прилично одетый молодой человек с длинной, тощей шеей и в высоких резиновых калошах; начинаю мечтать о том, как я вырасту большой и как куплю себе такие же калоши, непременно куплю! Дама вздрагивает и идет за ширмы. Ее очередь.

В щелку между двумя половинками ширмы видно, как дама подходит к аналою и делает земной поклон, затем поднимается и, не глядя на священника, в ожидании поникает головой. Священник стоит спиной к ширмам, а потому я вижу только его седые кудрявые волосы, цепочку от наперсного креста и широкую спину. А лица не видно. Вздохнув и не глядя на даму, он начинает говорить быстро, покачивая головой, то возвышая, то понижая свой шёпот. Дама слушает покорно, как виноватая, коротко отвечает и глядит в землю.

«Чем она грешна? – думаю я, благоговейно посматривая та ее кроткое, красивое лицо. – Боже, прости ей грехи! Пошли ей счастье!»

Но вот священник покрывает ее голову епитрахилью.

– И аз недостойный иерей... – слышится его голос, – властью его, мне данную, прощаю и разрешаю ты от всех грехов твоих...<sup>60</sup>

Дама делает земной поклон, целует крест и идет назад. Уже обе щеки ее румяны, но лицо спокойно, ясно, весело.

«Она теперь счастлива, – думаю я, глядя то на нее, то на священника, простившего ей грехи. – Но как должен быть счастлив человек, которому дано право прощать».

Теперь очередь Митьки, но во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбойнику, я хочу пройти за ширму раньше его, я хочу быть первым... Заметив мое движение, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и полминуты слышится пыхтение и такие звуки, как будто кто-то ломает свечи... Нас разнимают. Мой враг робко подходит к аналою, не сгибая колен, кланяется в землю, но, что дальше, я не вижу; от мысли, что сейчас после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начинают мешаться и расплываться предметы; оттопыренные уши Митьки растут и сливаются с темным затылком, священник колеблется, пол кажется волнистым...

Раздается голос священника:

– И аз недостойный иерей...

Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху... Подхожу к аналою, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное, утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест и край аналоя. Я чувствую близкое соседство священника, запах его рясы, слышу строгий голос, и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть... Многого от волнения я не слышу, но на вопросы отвечаю искренно, не своим, каким-то странным голосом, вспоминаю одиноких богородицу и Иоанна Богослова, распятие, свою мать, и мне хочется плакать, просить прощения.

– Тебя как зовут? – спрашивает священник, покрывая мою голову мягкой епитрахилью.

<sup>60</sup> *И аз недостойный иерей ~ прощаю и разрешаю ты от всех грехов твоих...* – Из «Последования об исповедании» («Требник», в 2-х ч. Ч. 1, гл. 7).

Как теперь легко, как радостно на душе!

Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай! Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как от рясы, я иду из-за ширм к дьякону записываться и нюхаю свои рукава. Церковные сумерки уже не кажутся мне мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, без злобы.

– Как тебя зовут? – спрашивает дьякон.

– Федя.

– А по отчеству?

– Не знаю.

– Как зовут твоего папашу?

– Иван Петрович.

– Фамилия?

Я молчу.

– Сколько тебе лет?

– Девятый год.

Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают, поскорее ложусь в постель и, закрывши глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы претерпеть мучения от какого-нибудь Ирода или Диоскора<sup>61</sup> жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить в келии и питаться одной просфорой, раздать имущество бедным, идти в Киев. Мне слышно, как в столовой накрывают на стол – это собираются ужинать; будут есть винегрет, пирожки с капустой и жареного судака. Как мне хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без матери, кормить медведей из собственных рук<sup>62</sup>, но только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой!

– Боже, очисти меня грешного, – молюсь я, укрываясь с головой. – Ангел-хранитель, защити меня от нечистого духа.

На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаха, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. В церкви всё дышит радостью, счастьем и весной; лица богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера, лица причастников озарены надеждой, и, кажется, всё прошлое предано забвению, всё прощено. Митька тоже причесан и одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные уши и, чтобы показать, что я против него ничего не имею, говорю ему:

– Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали так волосы и если бы ты не был так бедно одет, то все бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне на Пасху, будем в бабки играть.

Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне под полой кулаком.

А вчерашняя дама кажется мне прекрасной. На ней светло-голубое платье и большая сверкающая брошь в виде подковы. Я люблюсь ею и думаю, что когда я вырасту большой, то непременно женюсь на такой женщине, но, вспомнив, что жениться – стыдно, я перестаю об этом думать и иду на клирос, где дьячок уже читает часы.

---

<sup>61</sup> ...претерпеть мучения от какого-нибудь Ирода или Диоскора... – Федя перепутал сведения о героях священной истории. Ирод – царь иудейский. Диоскор – языческий жрец, принявший христианство. За отступничество изжарен на сковороде (в царствование Антонина, 138–161 гг.) в Памфилии, на юге Малой Азии («Жития святых», апрель 21).

<sup>62</sup> ...жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму ~ кормить медведей из собственных рук... – Мальчик вспоминает «Житие преподобного Серафима Саровского» (1759–1833), в юности ушедшего в Саровскую пустынь Тамбовской губернии («Жития святых», январь 2).

## Весной (Сцена-монолог)

*Раннее утро. Из-за слухового окна показывается на крыше серый молодой кот с глубокой царапиной на носу. Некоторое время он презрительно жмурится, потом говорит:*

– Пред вами счастливейший из смертных! О, любовь! О, сладкие мгновения! О, когда я буду дохлым и меня возьмут за хвост и бросят в помойную яму, даже тогда я не забуду первой встречи возле опрокинутой бочки, не забуду взгляда ее узких зрачков, ее бархатного, пушистого хвоста! За одно движение этого грациозного, неземного хвоста я готов отдать весь мир! Впрочем... к чему это я вам говорю? Вы никогда не понимали ни котов, ни гимназистов, ни старых дев. Вы, люди, мелки, ничтожны и не можете хладнокровно глядеть на кошачье счастье. Вы завистливо улыбаетесь и попрекаете меня моим счастьем: «Счастье котам!» Но ни одному из вас не приходит в голову спросить, какую ценою достается нам счастье. Так дайте же я вам расскажу, во что обходится котам счастье! Вы увидите, что в погоне за ним кот борется, рискует и терпит гораздо больше, чем человек! Слушайте же... Обыкновенно в 9 часов вечера наша кухарка выносит помои. Я выхожу за ней и пробегаю через весь двор по лужам. У котов не принято носить калоши, а потому волей-неволей приходится забыть на всю ночь о своем отвращении к сырости. В конце двора я прыгаю на забор и осторожно ступаю по его краю; внизу злорадно следит за мной сеттер, мой злейший враг, мечтающий, что я рано или поздно свалюсь с забора и позволю ему помять себя. Затем, один хороший прыжок – и я иду уже по сараю. Отсюда с усилием карабкаюсь я по водосточной трубе высокого дома и шествую по узкому, скользкому карнизу. С карниза я прыгаю на соседний дом. Тут на крыше меня обыкновенно встречают мои соперники. О господи, если б вы знали, сколько шрамов, рубцов и шишек прячется за моею шерстью, то у вас волосы стали бы дыбом! В прошлом году у меня едва не вытек глаз, а третьего дня мои соперники спихнули меня с высоты двухэтажного дома. Но к делу. Я начинаю петь. В музыке мы, коты, теоретики и держимся новой школы, родоначальником которой считаем себя: не гонимся за мотивом, а стараемся петь громче и дольше. Обыватели плохие теоретики, а потому не мудрено, что они не понимают нашего пения и швыряют в нас камнями, метлами, обливают помоями и натравляют на нас собак. Петь мне приходится около трех часов, а иногда и дольше, до тех пор, пока ветер не донесет до моего слуха нежное, призывающее «мяу». Как молния, мчу я на этот призыв, встречаю ее... Наши кошки, в особенности из чайных магазинов, добродетельны. Как бы они ни любили, они никогда не отдадутся без протеста. Нужно обладать настойчивостью и силой воли, чтобы добиться успеха. Она шипит, царапает вам нос, кокетливо жмурится; когда на ее глазах соперники задают вам выволочку, она мурлыкает, шевелит усами, бегаёт от вас по крышам, по заборам. Возня страшная, так что сладкий миг наступает обыкновенно не раньше 4–5 часов утра.

Теперь вам понятно, во что мне обходится счастье.

*(Задирает вверх хвост и с достоинством шествует дальше.)*

## Тайна

Вечером первого дня Пасхи действительный статский советник Навагин, вернувшись с визитов, взял в передней лист, на котором расписывались визитеры, и вместе с ним пошел к себе в кабинет. Разоблачившись и выпив зельтерской, он уселся поудобней на кушетке и стал читать подписи на листе. Когда его взгляд достиг до середины длинного ряда подписей, он вздрогнул, удивленно фыркнул и, изобразив на лице своем крайнее изумление, щелкнул пальцами.

– Опять! – сказал он, хлопнув себя по колену. – Это удивительно! Опять! Опять расписался этот, чёрт его знает, кто он такой, Федюков! Опять!

Среди многочисленных подписей находилась на листе подпись какого-то Федюкова. Что за птица этот Федюков, – Навагин решительно не знал. Он перебрал в памяти всех своих знакомых, родственников и подчиненных, припоминал свое отдаленное прошлое, но никак не мог вспомнить ничего даже похожего на Федюкова. Страннее же всего было то, что этот incognito<sup>63</sup> Федюков в последние тринадцать лет аккуратно расписывался каждое Рождество и Пасху. Кто он, откуда и каков он из себя, – не знали ни Навагин, ни его жена, ни швейцар.

– Удивительно! – изумлялся Навагин, шагая по кабинету. – Странно и непонятно! Какая-то кабалистика<sup>64</sup>! Позвать сюда швейцара! – крикнул он. – Чертовски странно! Нет, я все-таки узнаю, кто он! Послушай, Григорий, – обратился он к вошедшему швейцару, – опять расписался этот Федюков! Ты видел его?

– Никак нет...

– Помилуй, да ведь он же расписался! Значит, он был в передней? Был?

– Никак нет, не был.

– Как же он мог расписаться, если он не был?

– Не могу знать.

– Кому же знать? Ты зеваешь там в передней! Припомни-ка, может быть, входил кто-нибудь незнакомый! Подумай!

– Нет, вашество, незнакомых никого не было. Чиновники наши были, к ее превосходительству баронесса приезжала, священники с крестом приходили, а больше никого не было...

– Что ж, он невидимкой расписался, что ли?

– Не могу знать, но только Федюкова никакого не было. Это я хоть перед образом...

– Странно! Непонятно! Уди-ви-тель-но! – задумался Навагин. – Это даже смешно. Человек расписывается уже тринадцать лет, и ты никак не можешь узнать, кто он. Может быть, это чья-нибудь шутка? Может быть, какой-нибудь чиновник вместе со своей фамилией подписывает, ради курьеза, и этого Федюкова?

И Навагин стал рассматривать подпись Федюкова.

Размашистая, залихватская подпись на старинный манер, с завитушками и закорючками, по почерку совсем не походила на остальные подписи. Находилась она тотчас же под подписью губернского секретаря Штучкина, запуганного и малодушного человечка, который наверное умер бы с перепуга, если бы позволил себе такую дерзкую шутку.

– Опять таинственный Федюков расписался! – сказал Навагин, входя к жене. – Опять я не добился, кто это такой!

М-ме Навагина была спириткой, а потому все понятные и непонятные явления в природе объясняла очень просто.

<sup>63</sup> неизвестный (лат.)

<sup>64</sup> ...кабалистика! – Мистически-религиозное учение средневековых евреев, толкующее библейские тексты как собрание «тайных божественных откровений», где каждое число и слово имеет особое загадочное значение.

– Ничего тут нет удивительного, – сказала она. – Ты вот не веришь, а я говорила и говорю: в природе очень много сверхъестественного, чего никогда не постигнет наш слабый ум! Я уверена, что этот Федюков – дух, который тебе симпатизирует... На твоём месте я вызвала бы его и спросила, что ему нужно.

– Вздор, вздор!

Навагин был свободен от предрассудков, но занимавшее его явление было так таинственно, что поневоле в его голову полезла всякая чертовщина. Весь вечер он думал о том, что *incognito* Федюков есть дух какого-нибудь давно умершего чиновника, прогнанного со службы предками Навагина, а теперь мстящего потомку; быть может, это родственник какого-нибудь канцеляриста, уволенного самим Навагиным, или девицы, соблазненной им...

Всю ночь Навагину снился старый, тощий чиновник в потертом вицмундире, с желто-лимонным лицом, щетинистыми волосами и оловянными глазами; чиновник говорил что-то могильным голосом и грозил костлявым пальцем.

У Навагина едва не сделалось воспаление мозга. Две недели он молчал, хмурился и всё ходил да думал. В конце концов он поборол свое скептическое самолюбие и, войдя к жене, сказал глухо:

– Зина, вызови Федюкова!

Спиритка обрадовалась, велела принести картонный лист и блюдечко, посадила рядом с собой мужа и стала священнодействовать. Федюков не заставил долго ждать себя...

– Что тебе нужно? – спросил Навагин.

– Кайся... – ответило блюдечко.

– Кем ты был на земле?

– Заблуждающийся...

– Вот видишь! – шепнула жена. – А ты не верил!

Навагин долго беседовал с Федюковым, потом вызывал Наполеона, Ганнибала, Аскоченского<sup>65</sup>, свою тетку Клавдию Захаровну, и все они давала ему короткие, но верные и полные глубокого смысла ответы. Возился он с блюдечком часа четыре и уснул успокоенный, счастливый, что познакомился с новым для него, таинственным миром. После этого он каждый день занимался спиритизмом и в присутствии объяснял чиновникам, что в природе вообще очень много сверхъестественного, чудесного, на что нашим ученым давно бы следовало обратить внимание. Гипнотизм, медиумизм, бишопизм<sup>66</sup>, спиритизм, четвертое измерение<sup>67</sup> и прочие туманы овладели им совершенно, так что по целым дням он, к великому удовольствию своей супруги, читал спиритические книги или же занимался блюдечком, столоверчениями и толкованиями сверхъестественных явлений. О его легкой руки занялись спиритизмом и все его подчиненные, да так усердно, что старый экзекутор сошел с ума и послал однажды с курьером такую телеграмму: «В ад, казенная палата. Чувствую, что обращаюсь в нечистого духа. Что делать? Ответ уплачен. Василий Кринолинский».

Прочитав не одну сотню спиритических брошюр, Навагин почувствовал сильное желание самому написать что-нибудь. Пять месяцев он сидел и сочинял и в конце концов написал громадный реферат под заглавием: «И мое мнение». Кончив эту статью, он порешил отправить ее в спиритический журнал.

<sup>65</sup> *Аскоченский В. И.* (1813–1879) – реакционный журналист и писатель, автор романа «Асмодей нашего времени».

<sup>66</sup> ...*бишопизм* – от фамилии Вашингтона Ирвинга Бишопа, популярного американского физиолога, «читателя мыслей», впервые выступившего в Москве со своими опытами передачи мысли 20 ноября 1884 г. Публичные сеансы Бишопа проводились и в Петербурге в 1884–1885 гг. (см. также «Ребус», 1884, № 48, 2 декабря). Чехов упоминает о сеансах Бишопа в «Осколках московской жизни» («Осколки», 1884, № 49, 8 декабря) и в юмореске «Моя беседа с Эдисоном» (1885) – т. IV Сочинений, стр. 247.

<sup>67</sup> ...*четвертое измерение* – идеалистическая идея времени как четвертого измерения пространства, используемая спиритами для доказательства жизни вне обычного трехмерного пространства.

День, в который предположено было отправить статью, ему очень памятен. Навагин помнит, что в этот незабвенный день у него в кабинете находились секретарь, переписывавший набело статью, и дьячок местного прихода, позванный по делу. Лицо Навагина сияло. Он любовно оглядел свое детище, потрогал меж пальцами, какое оно толстое, счастливо улыбнулся и сказал секретарю:

– Я полагаю, Филипп Сергеич, заказным отправить. Этак вернее... – И подняв глаза на дьячка, он сказал: – Вас я велел позвать по делу, любезный. Я отдаю младшего сына в гимназию, и мне нужно метрическое свидетельство, только нельзя ли поскорее.

– Очень хорошо-с, ваше превосходительство! – сказал дьячок, кланяясь. – Очень хорошо-с! Понимаю-с...

– Нельзя ли к завтраму приготовить?

– Хорошо-с, ваше превосходительство, будьте покойны-с! Завтра же будет готово! Извольте завтра прислать кого-нибудь в церковь перед вечерней. Я там буду. Прикажите спросить Федюкова, я всегда там...

– Как?! – крикнул генерал, бледнея.

– Федюкова-с.

– Вы... вы Федюков? – спросил Навагин, тараща на него глаза.

– Точно так, Федюков.

– Вы... вы расписывались у меня в передней?

– Точно так, – сознался дьячок и сконфузился. – Я, ваше превосходительство, когда мы с крестом ходим, всегда у вельможных особ расписуюсь... Люблю это самое... Как увижу, извините, лист в передней, так и тянет меня имя свое записать...

В немом оцепенении, ничего не понимая, не слыша, Навагин зашагал по кабинету. Он потрогал портьеру у двери, раза три взмахнул правой рукой, как балетный *jeune premier*<sup>68</sup>, видящий *ее*, посвистал, бессмысленно улыбнулся, указал в пространство пальцем.

– Так я сейчас пошлю статью, ваше превосходительство, – сказал секретарь.

Эти слова вывели Навагина из забытья. Он тупо оглядел секретаря и дьячка, вспомнил и, раздраженно топнув ногой, крикнул дребезжащим, высоким тенором:

– Оставьте меня в покое! А-ас-тавь-те меня в покое, говорю я вам! Что вам нужно от меня, не понимаю?

Секретарь и дьячок вышли из кабинета и были уже на улице, а он всё еще топал ногами и кричал:

– Аставьте меня в покое! Что вам нужно от меня, не понимаю? А-ас-тавь-те меня в покое!

---

<sup>68</sup> первый любовник (*франц.*)

## Письмо

Благочинный о. Федор Орлов, благообразный, хорошо упитанный мужчина, лет пятидесяти, как всегда важный и строгий, с привычным, никогда не сходящим с лица выражением достоинства, но до крайности утомленный, ходил из угла в угол по своей маленькой зале и напряженно думал об одном: когда, наконец, уйдет его гость? Эта мысль томила и не оставляла его ни на минуту. Гость отец Анастасий, священник одного из подгородних сел, часа три тому назад пришел к нему по своему делу, очень неприятному и скучному, засиделся и теперь, положив локоть на толстую счетную книгу, сидел в углу за круглым столиком и, по-видимому, не думал уходить, хотя уже был девятый час вечера.

Не всякий умеет вовремя замолчать и вовремя уйти. Нередко случается, что даже светски воспитанные, политичные люди не замечают, как их присутствие возбуждает в утомленном или занятом хозяине чувство, похожее на ненависть, и как это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. Отец же Анастасий отлично видел и понимал, что его присутствие тягостно и неуместно, что благочинный, служивший ночью утреню, а в полдень длинную обедню, утомлен и хочет покоя; каждую минуту он собирался подняться и уйти, но не поднимался, сидел и как будто ждал чего-то. Это был старик 65-ти лет, дряхлый не по летам, костлявый и сутуловатый, с старчески темным, исхудалым лицом, с красными веками и длинной, узкой, как у рыбы, спиной; одет он был в щегольскую светло-лиловую, но слишком просторную для него рясу (подаренную ему вдовою одного недавно умершего молодого священника), в суконный кафтан с широким кожаным поясом и в неуклюжие сапоги, размер и цвет которых ясно показывал, что о. Анастасий обходился без калош. Несмотря на сан и почтенные годы, что-то жалкенькое, забитое и униженное выражали его красные, мутноватые глаза, седые с зеленым отливом косички на затылке, большие лопатки на тощей спине... Он молчал, не двигался и кашлял с такою осторожностью, как будто боялся, чтобы от звуков кашля его присутствие не стало заметнее.

У благочинного старик бывал по делу. Месяца два назад ему запретили служить впредь до разрешения и назначили над ним следствие. Грехов за ним числилось много. Он вел нетрезвую жизнь, не ладил с причтом и с миром, небрежно вел метрические записи и отчетность – в этом его обвиняли формально, но, кроме того, еще с давних пор носились слухи, что он венчал за деньги недозволенные браки и продавал приезжавшим к нему из города чиновникам и офицерам свидетельства о говении. Эти слухи держались тем упорнее, что он был беден и имел девять человек детей, живших на его шее и таких же неудачников, как и он сам. Сыновья были необразованны, избалованы и сидели без дела, а некрасивые дочери не выходили замуж.

Не имея силы быть откровенным, благочинный ходил из угла в угол, молчал или же говорил намеками.

– Значит, вы нынче не поедете к себе домой? – спросил он, останавливаясь около темного окна и просовывая мизинец к спящей, надувшейся канарейке.

О. Анастасий встрепенулся, осторожно кашлянул и сказал скороговоркой:

– Домой? Бог с ним, не поеду, Федор Ильич. Сами знаете, служить мне нельзя, так что же я там буду делать? Нарочито я уехал, чтоб людям в глаза не глядеть. Сами знаете, совестно не служить. Да и дело тут мне есть, Федор Ильич. Хочу завтра после разговенья с отцом следователем обстоятельно поговорить.

– Так... – зевнул благочинный. – А вы где остановились?

– У Зявкина.

О. Анастасий вдруг вспомнил, что часа через два благочинному предстоит служить пасхальную утреню, и ему стало так стыдно своего неприятного, стесняющего присутствия, что он решил немедленно уйти и дать утомленному человеку покой. И старик поднялся, чтобы уйти,

но прежде чем начать прощаться, он минуту откашливался и пытливо, всё с тем же выражением неопределенного ожидания во всей фигуре, глядел на спину благочинного; на лице его заиграли стыд, робость и жалкий, принужденный смех, каким смеются люди, не уважающие себя. Как-то решительно махнув рукой, он сказал с сильным дребезжащим смехом:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.